ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ.

№ 5—6

МАЙ—ИЮНЬ 1922.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „МАТЕРИАЛИСТ“
МОСКВА

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ.

№ 5—6.

МАЙ—ИЮНЬ 1922.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „МАТЕРИАЛИСТ".
МОСКВА.

Р. Ц. Москва. 708. Отпеч. 7.500 экз.

20-я Государственная типография (бывш. Кушнерева), Пименовская ул.

Жестоко ошибается тот, кто воображает, что „критика Маркса" теперь уже не опасна для успехов рабочего движения: она до сих пор очень опасна и всегда будет очень опасна для них, т.-е., говоря точнее, для менее сознательных слоев рабочего класса, потому что она стремится вырвать из их рук ничем незаменимое для них теоретическое оружие и, под предлогом движения *вперед*, толкает рабочих *назад*, выдавая им за самоновейшую истину софизмы и пошлости нынешних апологетов капиталистического способа производства. И эта опасность тем более велика, чем более склонны пренебрегать „теорией" практические деятели всего мира.

Г. В. ПЛЕХАНОВ.

СОДЕРЖАНИЕ.

Трибуна.

Библиография.



Г. Плеханов.

Грав. на дереве
Ив. Павлова.

Беглые мысли о Г. В. Плеханове.

Война подытожила целую эпоху в социализме, взвесила и оценила вождей этой эпохи. Безжалостно ликвидировала она в их числе и Г. В. Плеханова. Это был большой человек. Обидно думать, что все нынешнее молодое поколение пролетариата, примкнувшее к движению с 1914 года и позже, знает Плеханова только как покровителя Алексинских, сотрудника Авксентьевых, почти — единомышленника пресловутой Брешковской, то-есть Плеханова эпохи „патриотического" упадка. Это был большой человек. И большой фигурой вошел он в историю русской общественной мысли.

Плеханов не создал теории исторического материализма, не обогатил ее новыми научными завоеваниями. Но он ввел ее в русскую жизнь. А это заслуга огромной важности. Нужно было победить революционно-самобытнические предрассудки русской интеллигенции, в которых находило свое выражение высокомерие отсталости. Плеханов „национализировал". Марксистскую теорию и тем самым денационализировал русскую революционную мысль. Через Плеханова она впервые заговорила языком действительной науки, установила идейную связь свою с рабочим движением всего мира, раскрыла русской революции реальные возможности и перспективы, найдя для них опору в об'ективных законах хозяйственного развития.

Плеханов не создал материалистической диалектики, но он явился ее убежденным, страстным и блестящим крестоносцем в России с начала 80-х годов. А для этого требовались величайшая проницательность, широкий исторический кругозор и благородное мужество мысли. С этими качествами Плеханов соединял еще блеск изложения и талант шутки. Первый русский крестоносец марксизма работал мечом на славу. Сколько он нанес ран! Некоторые из них, как раны, нанесенные талантливому эпигону народничества Михайловскому, имели смертельный характер. Для того, чтобы оценить силу плехановской мысли, нужно иметь представление о плотности той атмосферы народнических, суб'ективистских, идеалистических предрассудков, кото-

рая царила в радикальских кружках России и русской эмиграции. А эти кружки представляли собою самое революционное, что выдвинула из себя Россия второй половины 19-го века.

Духовное развитие нынешней передовой рабочей молодежи идет (к счастию!) совсем другими путями. Величайший в истории социальный обвал отделяет нас от того времени, когда разыгрывалась дуэль Бельтова—Михайловского [1]). Вот почему форма лучших, т.-е. как раз наиболее ярко-полемических произведений Плеханова, устарела, как устарела форма энгельсовского „Анти-Дюринга". Взгляды Плеханова молодому мыслящему рабочему несравненно понятнее и ближе чем те взгляды, которые Плеханов разбивает. Поэтому молодому читателю приходится тратить гораздо больше внимания и воображения на то, чтобы мысленно восстановить взгляды народников и суб'ективистов, чем на то, чтобы понять силу и меткость плехановских ударов. Вот почему книги Плеханова не могут получить теперь широкого распространения. Но молодой марксист, который имеет возможность правильно работать над расширением и углублением своего миросозерцания, непременно будет обращаться к первому истоку марксистской мысли в России—к Плеханову. Для этого придется каждый раз ретроспективно вработаться в идейную атмосферу русского радикальства 60-90-х годов. Задача нелегкая. Зато и наградой будет расширение теоретических и политических горизонтов и эстетическое наслаждение, какое дает победоносная работа ясной мысли в борьбе с предрассудком, косностью и глупостью.

Несмотря на сильное влияние на него французских мастеров слова, Плеханов остался целиком представителем старой русской школы в публицистике (Белинский—Герцен—Чернышевский). Он любил писать пространно, не стесняясь уклониться в сторону и развлечь читателя по пути шуткой, цитатой—и еще одной шуткой... Для нашего „советского" времени, которое режет слишком длинные слова на части и потом прессует их осколки вместе, плехановская манера кажется устарелой. Но она отражает целую эпоху и, в своем роде, остается превосходной. Французская школа наложила на нее свою выгодную печать, в виде точности формулировок и прозрачной ясности изложения.

В качестве оратора, Плеханов отличался теми же свойствами, как и писатель, к выгоде и к невыгоде своей. Когда вы читаете книги Жореса, даже его исторические труды, вы чувствуете записанную ораторскую речь. У Плеханова—наоборот. В его речах вы слышали

---

[1]) Под псевдонимом Бельтова Плеханову удалось в 1895 г. провести через царскую цензуру самый свой победоносный и блестящий памфлет: „К вопросу о развитии монистического взгляда на историю".

говорящего писателя. Ораторское писательство, как и писательское ораторство, могут дать очень высокие образцы. Но все-таки писательство и ораторство—две разные стихии и два разных искусства. Оттого книги Жореса утомляют своей ораторской напряженностью. И по той же причине Плеханов—оратор производил нередко двойственное—и потому расхолаживающее впечатление искусного чтеца своей собственной статьи.

Выше всего он был на теоретических диспутах, в которых так неутомимо купались целые поколения русской революционной интеллигенции. Здесь самая материя спора сближает писательство и ораторство. Слабее всего он бывал в речах чисто-политического характера, т.-е. в таких, которые имеют своей задачей—связать слушателей единством действенного вывода, слить во-едино их волю. Плеханов говорил, как наблюдатель, как критик, как публицист, но не как вождь. Вся его судьба отказала ему в возможности обращаться непосредственно к массе, звать ее на действие, вести ее. Его слабые стороны вытекают из того же источника, что и его главная заслуга: он был предтечей, первым крестоносцем марксизма на русской почве.

Мы сказали, что Плеханов почти не оставил таких работ, которые могли бы войти в широкий идейный обиход рабочего класса. Исключение составляет разве только „История русской общественной мысли"; но это труд в теоретическом отношении далеко не безупречный: соглашательские и патриотические тенденции плехановской политики последнего периода успели, по крайней мере—частично, подкопать даже его теоретические устои. Запутавшись в безысходных противоречиях социал-патриотизма, Плеханов начал искать директив вне теории классовой борьбы,—то в национальном интересе, то в отвлеченных этических принципах. В последних своих писаниях он делает чудовищные уступки нормативной морали, пытаясь сделать ее критерием политики („оборонительная война—справедливая война"). Во введении к своей „Истории общественной мысли" он ограничивает сферу действия классовой борьбы областью внутренних отношений, заменяя ее для международных отношений национальной солидарностью [1]). Это уже не по Марксу, а по... Зомбарту. Только тот, кто знает, какую непримиримую, блестящую и победоносную борьбу Плеханов вел в течение десятилетий против идеализма вообще, нормативной философии в особенности, против школы Брентано и ее мар-

[1]) „Ход развития всякого данного общества, разделенного на классы, определяется ходом развития этих классов и их взаимными отношениями, т. е., во-первых, их взаимной борьбой там, где дело касается внутреннего общественного устройства, и, во-вторых, их более или менее дружным сотрудничеством там, где заходит речь о защите страны от внешних нападений". (Г.В. Плеханов. „История Русской Общественной Мысли".

ксисто-подобного фальсификатора Зомбарта,— только тот иможет оценить глубину теоретического падения, совершенною Плехановым под тяжестью национально-патриотической идеологии.

Но это падение было подготовлено: несчастье Плеханова шло на того же корня, что и его бессмертная заслуга,— он был предтечей. Он не был вождем действующего пролетариата, а только его теоретическим предвестником. Он полемически отстаивал методы марксизма, но не имел возможности применять их в действии. Прожив несколько десятков летв Швейцарии, он оставался русским эмигрантом. Оппортунистический, муниципальный и кантональный швейцарский социализм, с крайне низким теоретическим уровнем, его почти не нитересовал. Русской партии не было. Ее заменила для Плеханова „Группа освобождения труда", то есть тесный кружок единомышленников (Плехаиов, Аксельрод, Засулич и Дейч, находившийся на каторге). Плеханов стремился тем более упрочить теоретические и философские корни своей позиции, чем более ему нехватало политческих корней. В качестве наблюдателя европейского рабочего движения, он оставлял сплошь да рядом без внимания крупнейшие политические проявления крохоборства, малодушия, соглашательства социалистических партий; но всегда был на стороже по части теоретических ересей социалистической литературы.

Это нарушение равновесия между теорией и практикой, выросшее из всей судьбы Плеханова, оказалось для него роковым. К большим политическим событиям он оказался неподготовленным, несмотря на всю свою большую теоретическую подготовку. Уже революция 1905 года застигла его врасплох. Этот глубокий и блестящий марксист-теоретик ориентировался в событиях революции при помощи эмпирического, по существу обывательского глазомера, чувствовал себя неуверенным, по возможности отмалчивался, уклонялся от определенных ответов, отделываясь алгебраическими формулами или остроумными анекдотами, к которым питал великое пристрастие.

Я впервые увидел Плеханова в конце 1902 г., т.е. в тот период, когда он заканчивал свою превосходную теоретическую кампанию против народничества и против ревизионизма ‘) и оказался лицом к лицу с политическими вопросами надвигавшейся революции. Другими словами, для Плеханова начиналась эпоха упадка. Только один раз мне довелось видеть и слышать Плеханова, так сказать, во всей силе и во всей славе его: это было в программной комиссии 11 съезда партии (в июле 1903 г. в Лондоне). Представители группы „Рабочего Дела" Мартынов и Акимов, представители „Бунда", Либер и др.

1) Ревизионизм - ещептвческая теория, основанная на пересмотре (ревизия) парь коне-е в оппортунистическом духе.

кое-кто из-провинциальных делегатов пытались внести поправки, в большинстве неправильные теоретически и мало продуманные, к проэкту программы партии, выработанному, главным образом, Плехановым. В комиссионных прениях Плеханов был неподражаем и... беспощаден. По каждому поднимавшемуся вопросу и даже вопросику он без всякого усилия мобилизовал свою выдающуюся эрудицию и заставлял слушателей и самих оппонентов убеждаться в том, что вопрос только начинается там, где авторы поправки думали закончить его. С ясной, научно-отшлифованной концепцией программы в голове, уверенный в себе, в своих знаниях, в своей силе, с веселым ироническим огоньком в глазах, с колючими и тоже веселыми усами, с чуть-чуть театральными, но живыми и выразительными жестами, Плеханов, сидевший председателем, освещал собою всю многочисленную секцию, как живой фейерверк учености и остроумия. Отблеск его вспыхивал обожанием на всех лицах и даже на лицах оппонентов, где восторг боролся со смущением.

При обсуждении тактических и организационных вопросов на том же с'езде Плеханов был несравненно слабее, иногда казался прямо-таки беспомощным, вызывая недоумение тех самых делегатов, которые любовались им в программной секции.

Еще на Парижском Международном Конгрессе 1889 г. Плеханов заявил, что революционное движение в России победит, как рабочее движение, или не победит вовсе. Это означало, что революционной буржуазной демократии, способной победить, в России нет и не будет. Но отсюда вытекал вывод, что победоносная революция, осуществленная пролетариатом, не может закончиться иначе, как переходом власти в руки пролетариата. От этого вывода Плеханов, однако, в ужасе отпрянул. Тем самым он политически отказался от своих старых теоретических предпосылок. Новых он не создал. Отсюда его политическая беспомощность, его шатания, завершившиеся его тяжким патриотическим грехопадением.

В эпоху войны, как и в эпоху революции, для верных учеников Плеханова не оставалось ничего иного, как вести против него непримиримую борьбу.

* * *

Сторонники и почитатели, нередко неожиданные и без исключения малоценные, Плеханова эпохи упадка, после смерти его собрали все наиболее ошибочное, что им было сказано, в отдельном издании. Этим они только помогли отделить мнимого Плеханова от действительного. Большой Плеханов, настоящий, целиком и безраздельно принадлежит нам. Наша обязанность восстановить для молодого поколения

духовную фигуру его во весь рост. Настоящие беглые строки не являются, разумеется, даже подходом к этой задаче. А ее надо разрешить, и она очень благодарна. Пора, пора написать о Плеханове хорошую книгу.

Л. Троцкий.

25/IV—22 г.

* * * * * *

Вместо статьи.

Уважаемый товарищ!

От всей души приветствую Ваше решение посвятить специальный нумер журнала „Под знаменем марксизма“ всестороннему выяснению взглядов и освещению личности Г. В. Плеханова — этого крупнейшего теоретика научного социализма, видного мыслителя и основоположника русского марксизма. К сожалению, я лишен в настоящее время возможности почтить память нашего учителя обстоятельной статьей с изложением его философских взглядов, как Вы об этом меня просите. Но, пользуясь Вашим любезным предложением, я позволю себе в беглых штрихах очертить роль и значение Плеханова как для русского, так и международного марксизма.

В начале восьмидесятых годов Плеханов, разочаровавшись в русском народничестве, стал твердой ногой на почву научного социализма. Марксизм дает ему возможность совершить целую революцию в миросозерцании русской революционной интеллигенции. Первой исторической заслугой Плеханова является то, что он „открыл“ в России город, капитализм и рабочий класс. Это обстоятельство должно было повести за собой перенесение центра тяжести революционной борьбы из деревни в город и выдвинуть пролетариат—вместо крестьянства — в качестве особого общественного класса, призванного совершить в России революционный переворот. Определяющим революционную борьбу фактором является развивающийся капитализм. Таким образом, в лице Плеханова русская действительность в целом осознала самое себя, свою собственную природу; в его же лице пришел к самосознанию русский рабочий класс. Неразрешимые с точки зрения народнического миросозерцания антиномии между идеалом и действительностью, между героем и толпой, свободой и необходимостью, социализмом и политической борьбой, получают свое научное разрешение в произведениях Плеханова. Он с необычайной виртуозностью диалектически „примиряет“ и разрешает все эти противоречия, что дает ему возможность разру-

философии и воздвигнуть на ее развалинах прочное здание русского марксизма с несокрушимым материалистическим фундаментом.

В 90-х годах в России, в связи с оживлением рабочего движения, возникает, так называемый, легальный марксизм. Повальное увлечение легальным марксизмом почти совпало с появлением за границей известной книги Э. Бернштейна. Часть русских „легальщиков“ протягивает руку немецкому ревизионизму, и создается своеобразный союз передовой части русской буржуазии с отсталой частью немецкого пролетариата. По поводу интереса, проявленного в России к книге Бернштейна, Плеханов писал: „*Всякая* „критика“ марксизма и *всякая* его пародия, если только она проникнута *буржуазным* духом,—непременно понравится той части наших легальных марксистов, которая сама представляет собою *буржуазную пародию на марксизм*“. Ревизионизм принял международный характер. Назревали жаркие боевые схватки между ортодоксами и ревизионистами. И в первых рядах беззаветных бойцов за теорию революционного социализма мы видим Г. В. Плеханова. Укрепившись еще в своей предыдущей деятельности на неприступных высотах диалектического материализма, ему удается нанести противнику смертельные удары. Плеханов вышел из этой драки несомненным победителем. Марксизм в лице Плеханова блестяще выдержал испытание. Памятником этой эпохи является ряд его ценных произведений, подкрепляющих, обосновывающих и углубляющих марксистскую теорию. В эту именно эпоху Плеханов становится общепризнанным теоретиком марксизма, и его имя приобретает *международное* значение. Всякая попытка извращения марксизма встречает с его стороны самый суровый отпор. Он ведет отчаянную борьбу с кантианизмом, эмпириокритицизмом, эмпириомонизмом, с шулятиковщиной, отстаивая всегда чистоту принципов марксизма.

Последователи Дицгена не могли простить Плеханову его холодного, а по временам резко-отрицательного отзыва об их учителе. Надо сказать, однако, что Плеханов был прав, ибо мировоззрение И. Дицгена страдает существенными недостатками. Диалектика его— настоящее море разливанное. Его натур-монизм крайне расплывчат. Все у него сливается в какое-то безразличное целое. Нет ни в чем определенности; увлекаемый потоком своей „диалектики“, он договаривается иногда до таких абсурдов, как признание онтологического доказательства бытия божия,—конечно, в каком-то особенном смысле, но существо дела от этого не меняется. По мнению учеников Дицгена, заслуга их учителя состоит в том, что он „дополнил“ якобы „узкий“ марксизм, имеющий дело исключительно с общественно-историческими явлениями, „универсумом“ превратив таким образом марк-

сизм в миросозерцание. Поистине, это открытие „широких" не свидетельствует о широте их умственного горизонта! Надо ли доказывать, что „Маркс и Энгельс были материалистами не только в области исторического исследования, что они были таковыми и в области понимания отношения между духом и материей" (Плеханов)? Что же касается Плеханова, то не он ли превратил диалектический материализм во всеобщий метод научного познания? Надо прямо сказать, что именно Плеханов стремился подвести общефилософский фундамент под марксизм, т.-е. превратить марксизм в миросозерцание, и он в этом деле успел сделать больше, чем кто-бы то ни было другой. Разница между ним и всякого рода „критиками" та, что он продолжал строить в духе Маркса и Энгельса, в то время как те стремились разрушить марксизм, пользуясь для этого различными философскими учениями идеалистического характера.

Диалектический материализм в качестве мировоззрения, в центре коего стоит теория научного социализма, призван освободить человечество от кошмара философского идеализма, изуродовавшего человека и рассекающего его на две части. Новое мировоззрение восстанавливает живое единство человеческой личности, которое не может уместиться в рамках буржуазного общества.

Деятельность Плеханова протекала в непрестанной борьбе за дорогое ему мировоззрение. Благодаря его усилиям, марксизм вышел неповрежденным из всех „критических" испытаний и превратился в широкое научно-обоснованное мировоззрение. Плехановское направление является единственно выдержанным и цельным во всей мировой литературе марксизма. Плеханов дал наиболее солидное и полное обоснование марксизму в духе Маркса и Энгельса. Вот почему он является непосредственным продолжателем основоположников научного социализма.

Ваш журнал, уважаемый товарищ, принесет огромную пользу молодому поколению русских марксистов, если он строго будет держаться принципов марксизма, как они освещены и научно обоснованы в произведениях Плеханова. Настоящий нумер журнала, посвященный памяти Плеханова, освещению его роли в истории русского и международного социализма, выяснению его значения как теоретика,—да послужит началом в деле популяризации его идей среди сознательных рабочих и более серьезного изучения его произведений со стороны молодых марксистов вообще, ибо пройти мимо Плеханова значит в значительной степени пройти мимо марксизма.

С марксистским приветом

А. Деборин.

* * * * * *

Об отношении Г. В. Плеханова к искусству, по личным воспоминаниям [1]).

Товарищи! Я выступаю сегодня от социологической секции Академии художественных наук и буду держаться строго своей темы. Не стану касаться Плеханова, как политического борца, и вообще его многогранной, богатой многообразным духовным содержанием личности, а займусь краткой характеристикой его отношения к искусству на основании моих личных воспоминаний. Но позвольте, тем не менее, предпослать несколько предварительных замечаний. Историк материализма Ф. А. Ланге, определяя материализм как мировоззрение, составляющее основу положительного знания, ставил ему в упрек бедность суб'ективным идеологическим содержанием.

Идеалистическая метафизика, хотя и является поэзией понятий, но она может гордиться своим родством с религией, поэзией и искусством, а, ведь, это, большое преимущество.

В известном смысле, Ф. А. Ланге был прав. Материализм до Маркса и Энгельса, действительно, держался в стороне от исторического содержания культуры человечества. Его главной сферой исследования были основы естествознания. Лишь в критических эпохах материалисты обращали свои взоры на государство и этику, как, например, Т. Гоббс и французские материалисты XVIII стол.. Эстетика, искусство должны были казаться им исключительно суб'ективной областью, к которой невозможно применение научных методов исследования, а то, что не может быть предметом положительной науки, не интересует материалистов. Только Дидро, следуя отчасти своей глубоко художественной натуре и назревшим требованиям эпохи, заложил некоторый фундамент научной эстетики.

Материалистическое понимание истории, поставившее своей целью дать строго-научное объяснение всему историческому содержанию, должно было, естественно, обратить внимание и на искусство.

Но основоположники материалистического понимания истории, Маркс и Энгельс, были не только кабинетными мыслителями, но и бойцами на поле битвы жизни. Теоретические задачи, непосредственно связанные с интересами практического движения пролетариата, стояли на первом плане. Вопросы искусства были поэтому отодвинуты на задний план.

---

[1]) Речь, произнесенная на собрании, созванном социологической секцией Академии художественных наук и посвященном чествованию памяти Г. В. Плеханова по случаю 4-ой годовщины смерти.

В найденном наброске предисловия к „Критике политической экономии“ Маркса мы находим, как на это указал только что Петр Семенович Коган, три страницы, посвященных искусству. Но, к сожалению, рукопись обрывается. Как всегда у Маркса, содержание этих страниц интересно глубоким подходом к проблеме, но это между прочим. Важно то, что Маркс в предисловии, где дается формулировка материалистического понимания истории, останавливается специально на вопросе об искусстве. Энгельс ничего не оставил нам из этой области.

Серьезное внимание на проблемы искусства обратил Г. В. Плеханов. Влечение Г. В. к этой проблеме объясняется, на мой взгляд, следующими причинами. Во-первых, Г. В. Плеханов был в высшей степени сложной, художественной натурой: красота и искусство играли выдающуюся роль в его духовной жизни. Во-вторых, Г. В. получил свое революционное, духовное воспитание на произведениях Белинского, Чернышевского и Добролюбова. Во всех европейских странах литературная критика имело колоссальное значение в критических эпохах. Но у нас в России на ее долю выпала особенно выдающаяся роль. При условиях полицейского самодержавия художественная критика являлась протестующим, революцицонным началом, подвергая критическому рассмотрению литературу, а в ее лице российскую действительность. Художественная критика имела историческое значение. Наши знаменитые критики соединяли вместе с революционной мыслью философское мировоззрение и глубокую художественную оценку. Г. В. шел по стопам своих первых учителей Белинского, Чернышевского. Как известно, Белинскому Г. В. посвятил обширную статью, Чернышевский и его творчество стали темой обширного произведения.

К „Неистовому Виссариону“ Плеханов чувствовал такую глубокую привязанность и такое сильное, духовное родство, что его предсмертным желанием было быть похороненным вблизи могилы гениального критика. Это желание исполнено. Прах Г. В. покоится в соседстве с останками гениального критика.

Из сказанного, думается мне, вполне очевидно, какое сильное влияние оказала русская общественная мысль на духовное развитие основателя русского марксизма. Далее, отношение Г. В. к искусству обусловливалось еще моментом, имевшим решающее и довершающее значение.

Этот момент—учение Маркса и Энгельса, взгляды основателей научного социализма на общественное развитие и их представление о характере и содержании революции.

Народники 70-ых годов, к течению которых принадлежал в

юные годы Плеханов, были к искусству более чем равнодушны. Хождение в народ требовало опрощения. Искусство было для них терпимо, поскольку оно было тенденциозно, т.-е. поскольку „художественное" произведение грешило против требований эстетики. Тенденциозные повести Решетникова, лишенные художественных достоинств, ставились выше „Детства, юности и отрочества", которое нашло себе должную оценку лишь в избранных литературных кругах. Такое отношение к искусству вытекало из всего мировоззрения народничества. Другое дело—революционное учение, вытекающее из исторического материализма. Тут не может быть речи об опрощении, о приспособлении к массам путем понижения культурных форм. Задачей представителей научного социализма является, как известно, главным образом, развитие сознания масс, не только политического сознания, как это склонны думать многие, но всестороннего, научного, этического и эстетического. Форма пропаганды социалистических идей должна соответствовать углубленному, серьезному научному содержанию. Истиная проповедь марксиста должна поднимать слушателя или читателя, а потому грубая форма, демагогия, дешевые эффекты так же неуместны, как неуместны такие формы выражения мысли в научном произведении. Популярность изложения, необходимая для пропаганды массам, требует еще более настоятельно художественной формы.

Этими взглядами был проникнут Плеханов.

Разрешите в подтверждение сказанного привести следующий, по моему мнению, необычайно характерный эпизод.

В 1905 г. после знаменательного 9-го января, в Женеву приехал Гапон, который немедленно после приезда явился к Плеханову. Не стану рассказывать интересные, впрочем, подробности его появления, последующие переговоры, разговоры и заседания с этим несчастным человеком. В связи с моей сегоднешней темой, заслуживает внимания лишь следующая сцена.

Гапон написал нечто в роде поэмы, темой которой было хождение петроградского пролетариата, с ним во главе, к царскому дворцу. Поэма была написана в грубых, демагогических тонах, вульгарное содержание выразилось в соответственно грубой, демагогической форме. Гапон решил прочесть ее Плеханову и мне. В кабинете Г. В. Гапон и прочел ее. Кроме нас троих никого не было. Во время чтения Г. В. слушал, как всегда, серьезно, внимательно, не пропуская, я уверен, ни одного слова,—манера слушать Г. В. мне была хорошо знакома.—По выражению его лица нельзя было бы определить, нравится ли ему вещь, или нет, что, между прочим, вытекало не из нарочитой скрытности, а было следствием полного внимания к читанному.

Гапон читал, лишь изредка поглядывая на своих слушателей, в особенности, конечно,—на Г. В. Чтение кончилось, наступило минутное молчание. Затем Плеханов встал. Я видала Плеханова в продолжение долгих периодов и при различных положениях. Но таким я его видела в первый и единственный раз. Г. В., вообще имея довольно импонирующую внешность, как бы сразу вырос во много раз и как-то внезапно стал чрезвычайно большим и величественным: „Так вы думаете,—обратился он к Гапону,—что к народу можно и нужно обращаться с такими детскими сказками? Народ—это, ведь, самая большая сила в историческом движении, народ—это великая вещь, и обращаться к нему с убаюкивающими сказками есть прямое и ничем неоправдываемое преступление. Идти в народ значит уметь говорить серьезно и, соответственно, этому облекать свою речь в простую, ясную и истинно-красивую форму, а вы, вот, вообразили, что народ из мальчишек, и что ему можно рассказывать, поэтому, вульгарные сказки."

Гапон был очень смущен и страшно побледнел. Тут Плеханов взглянул, дав мне понять, что лучше мне удалиться, так как мое присутствие ему мешало развернуть надлежащим образом свою политическую речь: он все же щадил Гапона. Я ушла. На следующий день явился ко мне Гапон. Я обратилась к нему с вопросом: „А что, отец Гапон, как вам вчера понравился Плеханов?"—Позвольте мне сделать отступление и сказать мое впечатление о Гапоне. Оно следующее: несчастные стороны характера этого человека привели его к самому страшному преступлению—к предательству. Тем не менее, Гапон был очень чутким человеком, и в душе его был несомненный контакт с народной массой. Он, поэтому, живо почувствовал большого человека и истинного представителя народа и на мой вопрос ответил таким образом: „Знаете, Любовь Исааковна, если бы мои привычки священника не оскорбили Плеханова, я пал бы перед ним на колени и поцеловал бы его ноги; он истинный представитель народа".

Он понял Плеханова. Я убеждена, что эта черта Георгия Валентиновича,—его понимание и толкование развития сознания масс,—обусловливала собой его глубокое отношение к искусству. Вопросами искусства он занимался очень серьезно.

Начиная с костюма, который всегда был приличен, несмотря на бедность,—а я узнала Плеханова и его семью в ту эпоху, когда нужда была абсолютной властительницей дома, когда у него был один лишь костюм,—Г. В. никогда не имел опущенного вида и никогда не походил на обычный тип, тип русского эмигранта-нигилиста. Начиная от костюма и кончая стилем, над которым он работал с чрезвычайной тщательностью, он был эстет в подлинном, высшем, истинном смысле этого слова. И как уже упомянуто выше, этот эсте-

тизм находился в полной связи с его представлениями о культурном смысле пролетарского движения.

Не имея ни малейшего желания беседовать с вами на теоретические темы, я буду, с вашего разрешения, продолжать речь беглыми воспоминаниями об отношении Г. В. Плеханова к искусству.

Четыре года тому назад, как раз в этот вечер, ко мне пришла потрясающая весть о кончине Г. В. Ярко вспоминая этот тяжкий час, мне хотелось бы остановиться на личной, интимной стороне отношении Плеханова к искусству. Я надеюсь и уверена, что и вы, пришедшие сюда чествовать память основателя русского марксизма, разделяете со мною это настроение.

Плеханов всегда читал художественную литературу. Я жила в его доме года два, от 1892 до 1894, а впоследствии жила года два рядом, в следующем доме. (Плехановы жили в Женеве Rue de Candelle 6, а я потой же улице д. 4). Я, следовательно, имела полную возможность наблюдать за процессом работы Г. В., Читал Г. В. всегда. И Г. В. в моем представлении существует не иначе, как с книгой. И среди чтения по разнообразнейшим вопросам беллетристика занимала видное место. Из русских художников любимыми были Пушкин, Гоголь, Толстой и Успенский. К Достоевскому он относился с явным нерасположением.

Помню, как однажды в беседе о русской литературе я высказала ту мысль, что Достоевский является более демократическим писателем, нежели Толстой и Тургенев, у которых сильно чувствуется принадлежность к дворянскому сословию. Достоевский, говорила я, чутко относится к угнетенным. „Да,—ответил Г. В.,—Достоевский, действительно сочувствует угнетенному, но этот угнетенный должен быть хоть немного сумашедшим". Любил он читать и Некрасова, но не во всем удовлетворяла его форма. Впрочем, отношение Г. В. к Некрасову выразилось в его статье о поэте.

Из литераторов позднейшего поколения Г. В. любил и очень высоко ставил Чехова и Короленко. Чехова читал часто и перечитывал. В Горьком признавал, конечно, большой талант, но коробила грубость формы, малая степень эстетической культуры, да и не соответствовала в творчестве Горького общему направлению Плеханова романтика босяков. Из немецкой литературы, он был глубоким почитателем Гете. Шиллера не любил, и это нерасположение к творчеству Шиллера объясняется, на мой взгляд, одной основной чертой Г. В. Плеханова. Плеханов отличался необычайной искренностью, в настоящем значении этого слова, той именно искренностью, о которой Ромэн Роллан говорит, что она такое редкое качество, как ум, красота и доброта. Плеханова коробила самая малейшая фальшь, самая незначительная искусственность. Во всем, что бы он ни делал, о чем

бы ни говорил, он был весь там; это и есть искренность. Творчество же Шиллера казалось ему несколько приподнятым, впрочем, были исключения,—Г. В. очень любил „Вильгельма Телля". Гению же Гете он поклонялся, в буквальном смысле этого слова, в особенности восхищался первой частью Фауста, вторую часть считал нехудожественной. С особенным интересом относился к Мефистофелю. Мышление этого философа диалектики и разрушения некоторым образом соответствовало диалектическому методу. Недаром же его так часто цитировали Гегель и Энгельс. Но ставя высоко „Фауста", Г. В. находил один элемент излишним, нарушающим величие этого творения.

Таким лишним элементом была трагедия любви Гретхен. Эта трагедия портила, по его мнению, общую картину. Фауст, это—трагедия познания, это—эпопея человека и человечества. А трагедия любви Гретхен—маленький, незначительный эпизод. Мефистофель—этот философ-разрушитель, сатана-богоборец, и чем же он занимается в трагедии „Фауста"—тем, что помогает Фаусту соблазнить 14-тилетнюю девченку. При этом он с любовью ссылался на то место Гегеля, где великий немецкий идеалист говорит с суровой иронией о вкоренившейся привычке художников вечно возиться с сюжетом, как молодой Ганс полюбил молодую Гретхен. Плеханов всецело стоял на точке зрения Гегеля, что пора, наконец, перестать считать в творчестве половую романтическую любовь главной темой. Романтическая любовь имеет, конечно, свое значение, этого Г. В. не отрицал, конечно, но ее значение—ничто в сравнении с другими явлениями исторической действительности.

Г. В. очень любил Гейне,преимущественно—его сатиру. Из интимной лирики, Г. В. любил „Бурный поток" и „Азра", Этот романс Рубинштейна он слушал всегда с восхищением и часто просил свою жену Розалию Марковну петь его (у его жены был чудный голос).

Из английской литературы любимыми авторами были Шекспир, Байрон и Шелли, с особенно трогательным чувством относился к Диккенсу. В творчестве Шекспира он высоко ценил исторические драмы, в которых нашли свое отражение политическая жизнь Англии и некоторые черты эпохи Возрождения. Любил Гамлета, которого иногда цитировал, замечая при этом: „Так думал еще принц датский". Цитировал он часто Макбета. Но терпеть не мог „Короля Лира" и считал эту драматическую фигуру взбалмошным стариком. Не будучи согласна с этой оценкой, я высказывала свой взгляд на эту трагедию Шекспира, и однажды мне показалось, что Г. В. сдался. Это было при следующих обстоятельствах, в конце девяностых годов, когда происходила борьба между группой „Освобождения Труда" и примыкающими к ней революционными социал-демократами с экономистами. Группа „Освобождения Труда" после долгих неприятных перипетий

отдала союзу свое революционное имущество: шрифт и какие-то еще типографские принадлежности. Группа „Освобождение Труда" осталась без орудий. Понадобилось кое-что напечатать, и вот Плеханов оказался в драматическом положении. В этот момент я, обратившись к нему, заметила: А, вот, видите, Г. В., вы сейчас в положении „Короля Лира". Он улыбнулся, немного подумав, ответил: „А король Лир, все-же, взбалмошный старик". Это отношение к королю Лиру вытекало не из каприза индивидуального вкуса, оно, как мне думается, коренилось в его революционной природе. Несмотря на всю разносторонность Г. В., он, повидимому, не был в состоянии проникнуться трагедией короля, лишившегося преждевременно своего трона.

Занимаясь фактически искусством и разработкой художественных течений в русской литературе, Г. В. всегда носился с мыслью подвергнуть исследованию эту великую отрасль человеческой культуры с материалистической точки зрения. Приступил же он к этой работе с полной определенностью в начале девяностых годов. И вот, работая над этой темой, он прочитал прямо неимоверное количество книг. У меня хранится значительное количество писем Плеханова, из этих писем можно видеть, сколько он читал. Дело в том, что ему не хватало собственной обширной библиотеки, ни женевских библиотек, и я ему высылала книги из Берна. Бернская государственная библиотека имела возможность выписывать для некоторых лиц книги из германских библиотек. Помню хорошо, как я надоедала библиотекарю, и тут же не могу не выразить восхищения этим чудесным стариком, который всегда шел навстречу моим просьбам. Книги по эстетике направлялись целыми большими пакетами Плеханову в Женеву. Это были произведения классиков по эстетике. Но отвлеченная метафизическая эстетика, ставящая проблему о красоте в себе, мало что могла дать теоретику исторического материализма.

Вопрос был поставлен на чисто историческую почву, именно: каково происхождение искусства? Г. В. обратился к этнологии, которую он и до того времени знал весьма основательно. Но проблемы искусства требовали рассмотрения фактов иного порядка в культуре И вот, началась работа. Я снова стала надоедать библиотекарю государственной библиотеки. Но милый швейцарец сохранил свое прежнее отношение.

Могу сказать с полным убеждением, что Плеханов прочел все, что имеется по этому вопросу, когда он, наконец, прочитал свою статью о первобытном искусстве (она помещена в сборнике „Критика наших критиков"). Он приехал читать ее в виде лекции в Берн. Вообще, надо заметить, Г. В. любил читать свои работы до их напечатания публике. Непосредственное впечатление, которое производило сочине[illegible]

няется тем, что Плеханов был бойцом, и что главным стремлением его творчества являлась пропаганда излюбленных марксистских идей К прочитанным лекциям о первобытном искусстве публика осталась в общем равнодушна. Она совершенно не поняла Плеханова. Ей казалось, что речь идет о первобытной культуре в общем ея смысле, о которой она читала в известных книгах Липперта и др.

Помню разсказ Плеханова о том, как подошла к нему после лекции девица и заявила с решительным видом: „А, ведь, я все это знала“, — на что Г. В. ответил: „Искренно завидую вам, некоторые вещи я узнал только 2 — 3 недели тому назад“. Эта энциклопедистка отразила, без сомнения, общее отношение большинства слушателей [1]).

Плеханов продолжал свою работу упорно и серьезно, но сложность предмета, с одной стороны, и высокая требовательность, с другой, работа над „Развитием русской общественной мысли“, с третьей, фатально отодвигали задуманное сочинение об искусстве на задний план.

Месяца за три до кончины, когда Г. В., повидимому, подводил общие итоги своей жизни и деятельности, он с глубоким сожалением раз заметил, что как-то не удалось использовать весь накопленный материал по вопросам искусства и довести до конца задуманный труд Искусству он придавал колоссальное культурное утилитарно-пропагандистское значение.

В обще-культурном смысле искусство должно было, с точки зрения Плеханова, заменить религию. Религия, будучи плодом фантазии и воображения, выдает себя за действительность, между тем как искусство, отражая действительность, является тем, что оно есть в самом деле,—плодом художественного воображения. А в частности, театр должен заменить собой церковь. Перед нами прошел целый ряд авторов—художников, которые высоко ценились Плехановым. Среди них мы видели и реалистов, и романтиков. Спрашивается, какого-же направления в искусстве придерживался Плеханов? Само собой разумеется, что в художественном творчестве на первом плане стоит талант, этим и объясняется то обстоятельство, что в числе излюбленных поэтов были Байрон и Шелли. Но что касается общего направления, то Плеханов стоял на твердой почве реализма. Искусство имеет своею задачей отражать действительность, но не только, как она есть, но и так, как должна быть; иными словами,—действительность в ее наступательном

[1]) Это было в 1903 г. (до второго съезда, летом); коллектив „Искры“ решил устроить ряд лекций в Бернской колонии, где было очень много сочувствующей социал-демократии молодежи. Плеханов прочел 8 лекций об искусстве, Ленин—7 лекций по аграрному вопросу и я—6 лекций по философии Канта.

движении и развитии. Ясно таким образом, что долженствование, идеалы, которые должны найти свое отражение в художественном творчестве, также заключаются в действительности. Коротко можно эту точку зрения формулировать словами Гете:

„Greift nur hinein ins volle Menschenleben,
Ein jeder lebt's, nicht vielen ist's bekannt,
Und wo er's packt, da ist's interessant."

К символическому искусству Г. В. относился крайне отрицательно. Восхищаясь колоссальным талантом Ибсена, признавая его огромную драматическую силу, он все же не мог без раздражения говорить о Пэр-Гюинте. Надо еще прибавить, что реалистическое направление в искусстве вытекало из общего принципа матèриалистического понимания истории. Оно являлось логическим следствием той высокой оценки самого исторического процесса и общего оптимистического взгляда на историю человечества.

Что же вам в заключение еще сказать? Скорбный час, и тяжело, слишком тяжело вспомнить, что четыре года тому назад скончался преждевременно, в цвете духовных сил, большой и благородный мыслитель, основоположник русского марксизма и один из столпов международного пролетарского движения. Жизнь Г. В. была прекрасной, художественной поэмой, полной глубоких драматических эпизодов. Не раз Г. В. бывал в положении ибсеновского доктора Штокмана. Но таков удел истинно исторических личностей.

Было подано 17 записок из публики с различными вопросами. Вот ответы на некоторые вопросы, которые были даны Л. И. Аксельрод.

Как относился Плеханов к Толстому? Разрешите указать на то, что есть статья Плеханова о Толстом, напечатанная в 1910 году в московском большевистском журнале „Мысль". По моим личным воспоминаниям, личная оценка такова: как художник, Толстой силен и велик, как мыслитель—слаб.

Плеханов был революционером с головы до ног, и принцип непротивления злу насилием, конечно, не мог вызвать в нем никакого сочувствия и ни с какой точки зрения.

Кто был любимым композитором Плеханова? Г. В. любил музыку вообще, но самое глубокое и самое сильное впечатление производил на него Бетховен. Мощная гармония, сила и героизм в творчестве Бетховена находили себе полный отклик в сложной и сильной душе Плеханова. Вспоминаю один, как мне кажется, любопытный эпизод следующего характера. Мне несколько раз пришлось слушать исполнение Бетховена вместе с Г. В., и всегда слышала от него восторженные отзывы о творчестве великого мастера. Однажды имевшийся в Женеве замечательный хор (это был, а может и в настоящее время существует, городской хор, состоявший из 500 человек, в нем

участвовали все музыкальные силы города, безразлично, какого класса) решил поставить торжественную обедню Бетховена.

Были приглашены знаменитые солисты, прекрасный оркестр, словом, от концерта ожидали многого. Я выразила желание пойти на концерт, спросив тут же, собираются ли на концерт он и семья. Г. В. ответил, что не любит религиозной музыки. Надо заметить, что к религии Г. В. питал полное отвращение. Он никак не мог понять, каким это образом могут образованные и умные люди найти суб'ективное удовлетворение в миросозерцании бабушек и прабабушек. Что, разумеется, ему нисколько, не мешало считать серьезной задачей научное, историческое исследование религии. Но это— между прочим. Возвращаюсь к концерту. Я продолжала настаивать на том, что концерт несомненно будет весьма интересным. Присоединилась Розалия Марковна Плеханова, и кончилось тем, что Г. В., вся его семья и я отправились слушать „торжественную обедню". Исполнение было классическое, глубоко проникновенное, и сейчас вспоминаю с изумительной отчетливостью это благоговейное величие и силу чувства. Г. В. слушал серьезно, сосредоточенно, и чем дальше, тем отчетливее отражалось на его лице то сильное действие, которое произвело на него исполнение „торжественной обедни".

На возвратном пути он был совершенно погружен в себя, под явным впечатлением музыки.

Ночь была, помню как сейчас, душная (дело было летом), темная, в воздухе зрела гроза.

Улицы Женевы были еще освещены. Плеханов шел с открытой головой, держа шляпу в руках. И в этот момент он казался выше своего обычного роста.

В продолжении недели он вспоминал концерт.

Л. И. Аксельрод.

* * * * * *

Г. В. Плеханов и „научная эстетика".

Среди многочисленных заслуг Плеханова нельзя не указать и на ту, что он был одним из основоположников марксистской социологии искусства. Между тем, как Маркс оставил нам кроме общей концепции исторического материализма лишь сравнительно небольшой фрагмент, посвященный искусству, а Энгельс вопросами искусства и вообще не занимался, между тем как Каутский и Меринг совершали лишь экскурсии в область искусствоведения, да и то лишь в область литературы и почти исключительно немецкой, Плеханов первый из теоретиков марксизма поставил определенно пролебму о

марксистской социологии искусства и, при том, с обычной для него широтой захвата вопроса и обычным для него блеском популяризатора и полемиста.

Так сделался он — заслуга не последняя — основоположником „научной эстетики". Что такое „научная эстетика"?

„Научная эстетика,—говорит он в одном месте,—не дает искусству никаких предписаний, Она говорит ему: ты должен придерживаться таких-то и таких-то приемов. Она ограничивается наблюдением над тем, как возникают различные правила и приемы, господствующие в различные исторические эпохи. Она не провозглашает вечных законов искусства, она старается издать те вечные законы, которыми обусловливается его историческое развитие. Словом, она об'ективна, как физика, и именно потому, что чужда всякой метафизики". (Судьбы русской критики).

Каковы же основные положения „научной эстестики"?

Они будут здесь изложены словами самого же Плеханова.

„Есть два ряда коренных вопросов в этой области,—вопрос о происхождении и характере эстетического начала, и вопрос о характере и эволюции искусства.

Оба ряда вопросов могут быть разрешены только при свете социологического исследования, точнее, лишь при свете марксистской социологии.

Конечно, первый из этих двух вопросов—вопрос о происхождении и характере так называемого „эстетического" чувства, некоторым образом коренится—как выяснил уже Дарвин—в основах биологии. Эстетическое чувство родилось из борьбы организма и вида за жизнь,—но одним биологическим фактором всех проблем первобытной эстетики мы не разрешим. Никакой биологический закон не об'яснит нам того, засвидетельствованного многими исследователями первобытных народов, факта, что у охотничьих племен господствует орнамент, из животного мира заимствованный, а у племен земледельческих, напротив, орнамент взятый из растительного мира, того факта, что, следовательно, иногда—при одном экономическом строе—красивым считается одно, при другом—другое, как никакой биологический закон не об'яснит нам, почему женщины некоторых диких племен так перегромождают себя железными украшениями, что едва передвигают свое тело, а другие носят такие неудобные сандалии, что в них ходить почти невозможно, хотя и эти железные украшения, и эта в высшей степени неудобная обувь считаются „красивыми": осветить эти явления первобытной эстетики может только социологический метод, устанавливающий, что „красивое" служит целям классовой дифференциации первобытной общины, что „эстетика" служит делу „пафоса расстояния". (Об искусстве).

Биологический метод должен быть поэтому дополнен, даже когда речь идет о первоначальных фазисах цивилизации, методом социологическим.

„Идеал красоты, господствующий в данное время в данном обществе или в данном классе общества, коренится частью в биологических условиях развития человеческого рода, а частью в исторических условиях возникновения и существования общества или класса". (Искусство и общественная жизнь). Ведь несомненно, что понятие о красоте различно у отдельных народов одной и той же расы: значит, не в „биологии" надо искать „причины такого различия". (Об искусстве). В образовании чувства и понятия „красоты",—как указал уже Дарвин,—играет огромную роль психологический закон „антитезы". Например, „пейзаж" кажется красивым по его противоположности „городскому строю", или английская мещанская драма XVIIIв. сконструировалась, как известный литературный жанр, в виде антитезы английской придворной комедии XVIIв. Но как видно из указанных примеров, конкретное содержание закон антитезы получает от социальных условий (рост городской жизни; выступление буржуазии, вытеснившей придворную знать). „Психологическая природа человека делает то, что у него могут быть эстетические понятия, и это дарвиновское начало антитезы играет чрезвычайно важную, до сих пор недостаточно оцененую, роль в механизме этих понятий. Но почему данный общественный человек имеет именно эти, а не другие вкусы, отчего ему нравятся именно эти, а не другие предметы—это зависит от окружающих условий" (Об искусстве).

Под каким бы однако влиянием ни сложились те или иные эстетические понятия и оценки—под влиянием ли биологических или же социологических факторов—все, что считается „красивым", в конечном счете есть нечто отнюдь не „бесполезное", а напротив нечто весьма полезное в деле борьбы общественного человека за жизнь.

„Разумеется, не всякий полезный предмет кажется общественному человеку красивым, но несомненно, что красивым может ему казаться только то, что ему полезно, т.-е. что имеет значение в его борьбе за существование с природой или с другим общественным человеком". Само собой понятно, что эта „польза" в огромном большинстве случаев может [быть открыта только „научным анализом". Нет спора, главная отличительная черта эстетического наслаждения—его „непосредственность".

Но „польза" все-таки существует, „она все таки лежит в основе эстетического наслаждения" (речь идет здесь, конечно, о пользе не для отдельного лица, а для общественного человека).

„Не человек для красоты, а красота для человека".

Это „утилитаризм"—нет спора,—но утилитаризм, понимаемый в

широком, настоящем смысле слова, т.-е. в смысле „полезного для общества,—племени, рода, класса". (Об искусстве).

Если перейти затем от вопроса о происхождении и характере эстетического начала к вопросу о факторах, определяющих особенности и эволюцию искусства,—ко второму кардинальному вопросу науки об искусстве—то и здесь единственным плодотворным методом исследования является метод социологический, точнее—метод исторического материализма.

Какие силы определяют характер и развитие искусства?

Необходимо прежде всего отмести такой фактор, как географическая среда.

„Непосредственное влияние этой среды на искусство вряд ли существует в сколько нибудь заметной степени". Географическая среда влияет на развитие искусства лишь „посредственно", т.-е. „через общественные отношения, выростающие на основе производительных сил, причем „развитие" последних, конечно, всегда в большей или меньшей степени зависит от географической среды.

Даже на развитие пейзажа географическая среда непосредственного влияния не оказала, ибо „история названной живописи определяется сменой общественных настроений, в свою очередь зависящих от изменений общественных отношений" (Литературные взгляды Белинского).

Отмести или, вернее, свести его к его истинным размерам и подлинному удельному весу необходимо, далее, другой фактор, которому в развитии исскуства приписывается обычно первенствующее значение,—а именно „гениальную личность", единственного „творца" искусства. Все значение „гения" в этой области сводится к тому, что он „дает наилучшее выражение преобладающей эстетической склонности данного общества или данного класса" (Основные вопросы марксизма). „Гений" только лучше других выражает господствующие в эстетике взгляды, которые, однако, и без него нашли бы себе соответствующее художественное воплощение, лишь менее совершенное. „Если бы какие нибудь механические или физиологические причины, не связанные с общим ходом социально-политическаго и духовнаго развития Италии, еще в детстве убили Рафаэля, Микель-Анджело и Леонардо да Винчи, то итальянское искусство было бы менее совершенно, но общее направление его развития в эпоху. Возрождения осталось бы то же. Рафаэль, Леонардо да Винчи и Микель-Анджело не создали этого направления: они были только его лучшими выразителями. „Пробел, который остался бы в итальянском искусстве эпохи Возрождения вследствие ранней смерти их, оказал бы сильное влияние на многие второстепенные особенности в его дальнейшей истории. Но эта история не изменилась бы по существу, если бы только не произошло по

каким нибудь общим причинам какого нибудь существенного изменения в общем ходе духовнаго развития Италии“ (К вопросу о роли личности в истории).

Наряду с гениальной личностью, определяющей, яко бы, характер и развитие искусства, обычно выдвигается фактор литературнаго или художественнаго влияния одной страны на другую, но и этот фактор имеет лишь второстепенное значение, тем более, что самое литературное или художественное влияние предполагает наличие адэкватных или аналогичных общественных условий. „Оно прямо пропорционально сходству общественных отношений этих стран“.

„Оно совершенно отсутствует, когда это сходство равно нулю. Оно „одностороние, когда один народ по своей отсталости не может ничего дать другому и в смысле формы, и в смысле содержания“. Наконец, оно „взаимно“,—„при сходстве общественнаго быта и, след., культурного развития“ (Монистический взгляд на историю).

Только наличие такого социально-бытового сходства гарантирует и плодотворность литературно-художественного влияния. „Псевдо-классическая французская литература очень нравилась в свое время английской аристократии. Но английская аристократия никогда не могла сравняться со своими французскими образцами. Это потому, что все усилия английских аристократов не могли перенести в Англию тех общественных отношений, при которых расцвела французская псевдоклассическая литература“ (Там же).

Ни географическая среда, ни „гениальная личность“, ни, наконец, влияние одной страны на другую не могут об‘яснить нам ни сущности данного искусства, ни законов его эволюции, а только—экономика.

Какова же связь между экономикой и искусством?

Непосредственной эта связь является разве в первобытном обществе, на низких ступенях цивилизации. Здесь „производительная деятельность человека влияет прямо на его миросозерцание и на его эстетические вкусы“. Здесь, напр, „орнаментика берет свои мотивы у техники, а пляска—едва не самое важное искусство в таком обществе,—нередко ограничивается простым воспроизведением производительного процесса. Это особенно у охотничьих племен, стоящих на самой низкой из всех доступных нашему наблюдению ступеней экономического развития“ (Основные вопросы марксизма). В цивилизованном обществе, в обществе, разделенном на классы, „непосредственное влияние экономики на искусство и другие идеологии вообще крайне редко“. Здесь посредствующим звеном между экономикой и искусством является „психика общественного человека“, иначе психология класса, классовая психология. „Если бы мы захотели кратко выразить взгляд

Маркса и Энгельса на отношения знаменитого „основания“ и не менее знаменитой „надстройки“, то у нас получилось бы вот что:

1) Состояние производительных сил.

2) Обусловленные им экономические отношения.

3) Социально-политический строй, выросший на данной экономической основе.

4) Определяемая, частью, непосредственно экономикой, а, частью, выросшим на ней социально-политическим строем, психика общественного человека.

5) Различные идеологии отражают в себе свойства этой психики.

Эта формула, достаточно широкая, чтобы дать надлежащее место всем „формам“ исторического развития, вместе с тем совершенно чужда того эклектизма, который не умеет пойти дальше взаимодействия между различными общественными силами и даже не подозревает, что факт взаимодействия между этими силами еще вовсе не решает вопроса об их происхождении.

Это — монистическая формула. „И эта монистическая формула насквозь пропитана материализмом“. (Основные вопросы марксизма).

Вот один пример, уясняющий разнохарактерность связи искусства с экономикой в „первобытном“ и в „цивилизованном“ обществе.

„Чтобы понять танец австралийской туземки, достаточно знать, какую роль играет собирание женщинами корней дико растущих растений в жизни австралийского племени. А чтобы понять, скажем, менуэт, совершенно недостаточно знание экономики Франции XVIII в. Тут нам приходится иметь дело с танцем, выражающим собой психологию непроизводительного класса. Стало быть, экономический фактор уступает здесь место психологическому, но не забывайте, что самое появление непроизводительных классов в обществе есть продукт его экономическаго развития. Значит, экономический фактор вполне сохраняет свое преобладающее значение, даже уступая честь и место другому“ (Основные вопросы марксизма).

Экономика—класс—классовая психология—искусство—такова монистическая концепция марксистского понимания искусства.

„В литературе, искусстве выражается общественная психология, а характер общественной психологии определяется свойствами тех взаимных отношений, в которых находятся люди, составляющие общество. Эти отношения зависят, в последнем счете, от степени развития общественных производительных сил. Каждый значительный шаг в развитии этих сил ведет за собою изменение в общественных отношениях людей, а вследствие этого, и в общественной психологии. Перемены, совершающиеся в общественной психологии (в свою оче-

редь), отразятся с большей или меньшей яркостью и на литературе и искусстве". (Литературные взгляды Белинскаго).

Искусство в цивилизованном (и отчасти уже в первобытном) обществе, таким образом, явление классовое, и как его особенности в данную эпоху у данного народа, так и его эволюция на пространстве веков могут быть должным образом поняты только при свете классовой психологии, классовой борьбы, классовой смены.

„Сказать, что искусство—так же, как и литература, есть отражение жизни, значит высказать хотя и верную, но все-таки очень неопределенную мысль. Чтобы понять, каким образом искусство отражает жизнь, надо понять механизм последней. А у цивилизованных народов борьба классов составляет в этом механизме одну из самых важных пружин. И только рассмотрев эту пружину, только приняв во внимание борьбу классов и изучая ее многообразные перипетии, мы будем в состоянии сколько-нибудь удовлетворительно об'яснить себе „духовную" историю цивилизованных обществ: ход их „идей" отражает собою историю их классов и их борьбы друг с другом." (Французская драматическая литература и французская живопись XVIII в.)

И само собою понятно, что „чем более обостряется классовая борьба в данной стране, тем сильнее становится ее влияние на психологию борющихся классов. Кто хочет изучать идеологию в обществе, разделенном на классы, тому необходимо внимательно следить за этим явлением. Иначе он ничего не поймет". (Основные вопросы марксизма.) И потому пусть тот, кто этого понять не может или не хочет, лучше не берется за истолкование искусства. „Человек, не отдающий себе отчета в той борьбе, многовековой и многообразный процесс которой составляет историю, не может быть сознательным художественным критиком". (Судьба русской критики.)

Основное положение марксистской социологии о классовом характере всякого искусства отнюдь не опровергается тем фактом, что иногда писатели или художники фрондируют против своего класса, больше даже, презирают его, ругают его, отрекаются о него. Такой „разрыв" художника с своей средой отнюдь не есть доказательство в пользу надклассового или внеклассового характера искусства. Так напр., французские романтики были явно в контрах с французской буржуазией, поглощенной до ушей копеечными интересами и идеалами, и „это пренебрежительное отношение „тонко" чувствующей élite к „тупым буржуа" и до сих пор вводит в заблуждение наивных людей, решительно неспособных понять, благодаря ему, архибуржуазный характер романтиков". И романтики Франции не единственный такой пример. „Подобный разлад между идеологами и тем классом, стремления и вкусы которого они выражают, не редкость. Им об'яс-

няются весьма многие особенности в умственном и хозяйственном развитии человечества". (Основные вопросы марксизма) (напр., господство в известные эпохи теории „искусства для искусства", о чем ниже) [1]). Классовый характер искусства и социально-классовые причины его эволюции прекрасно иллюстрирует французская драма и французская живопись XVIII в. Классическая трагедия Расина и классическая живопись Лебрена и по содержанию и по форме были продуктом придворно-аристократической среды. Даже пресловутый „закон трех единств", как доказано уже другими, порожден психологией этой социальной среды. Как только буржуазия конституировалась как класс для себя, она сейчас же создала свою драму и свою живопись. Так как всякое восстание против господствующего класса, прежде чем получить революционно-политический характер, вытекает из оскорбленного нравственного чувства, то буржуазная драма и буржуазная живопись XVIII в., реально-бытовая, была проникнута морализующим духом, подобно тому, как в буржуазной или слезливой комедии Дидро и др. „человек среднего состояния противополагал свои домашние добродетели глубоко-испорченной аристократии", так тот же Дидро прославлял сантиментально—бытовые картины Греза за их „нравственное" содержание. Как только французская буржуазия почувствовала себя достаточно сильной, чтобы перейти к нападению на старый порядок, слезливая комедия и бытовой жанр должны были отмереть. „Речь шла теперь уже не об устранении аристократических пороков, а об устранении самой аристократии". Добродетельная семейственность уступала место добродетели политической. В драме и в живописи снова возраждается классицизм, но уже не притворный, а революционный, протестующий против деспотизма короны и церкви, прославляющий республиканскую доблесть античных героев. Дидро и Греза сменяют Ж. М. Шенье и Давид—поэт и художник революции. Форма осталась старой („ложно классической"), на содержание изменилось. А когда после Великой революции французская буржуазия стала у власти, она, естественно, перестала увлекаться древними республиканскими „героями" и потому классицизм, превратившийся за

---

1) Правда, иногда у Плеханова выходит так, что известное художественное течение является не художественным выражением психологии того или иного класса, а простым заимствованием с чужой стороны, лишенным социологического базиса. Так толкует он в одном месте русское декадентство, которое якобы (в виду экономической отсталости России) „не может быть в достаточной степени об'яснено нашими домашними причинами. Это простое заимствование с Запада". „Занесенное к нам со стороны, „декадентство" однако и у нас то же самое „порождение бледной немочи", сопровождающей упадок класса, господствующего теперь в Западной Европе" (Искусство и общественная жизнь). Но ведь понятно, что заимствовать упадочное искусство могли только упадочный класс или упадочная группа, а разве октябрьская революция и все ей сопутствовавшие явления не доказали яснее ясного „бледную немочь", как русской буржуазии, так и буржуазной интеллигенции России.

исчезновением его революционной души в простую „совокупность внешних приемов художественного творчества, ни для чего теперь не нужных, странных, неудобных“, неизбежно должен был отмереть, уступив место новому стилю—романтизму. (Франц. драма и жив. XVIII в.) Тот же закон регулирует эволюцию всякого искусства, всякой литературы—в том числе и русской, в первой половине XIX в. дворянской, что не значит, конечно, что все эти писатели (Пушкин, Лермонтов, Толстой) были „ограниченными сторонниками сословных привиллегий“, но „всякий писатель является не только выразителем выдвинувшей его общественной среды, но и ее продуктом“, всякий писатель вносит с собою в литературу симпатии и антипатии своей среды, ее миросозерцание, привычки, мысли и даже язык“ (Некрасов). Вместе со сменой дворянской интеллигенции разночинцем, литература дворянская сменяется разночинской, все характерные особенности которой—столь противоположные дворянской: преобладание общественного интереса над литературным его выражением, протестующее настроение, пренебрежительное отношение к композиции, стилю, языку, как показано в мастерском анализе—были обусловлены психологией разночинца, в свою очередь обусловленной его социальным положением (Гл. Успенский).

Только, если мы встанем на точку зрения классового истолкования искусства, поймем мы и, почему иногда господствует теория „искусство для жизни“, а иногда напротив теория „искусство для искусства.“ Вопрос о том, может ли быть искусство само себе целью, решался различно в различные эпохи (Литерат. взгляды Белинского). Всегда, когда художник чувствует живую связь с окружающей общественной средой, он мыслит свое искусство, как обслуживающее жизнь, как влияющее на жизнь (французские писатели XVIII в., ранние французские романтики-реакционеры). И при том художник может быть выразителем класса прогрессивного или класса реакционного,—это совершенно не влияет на его принципиальное отношение к искусству,—это отразится только на выражаемых им в его искусстве идеях. Когда же между художником и окружающей его общественной средой происходит „разлад“, когда окружающая среда кажется художнику столь низменной, что ее и обслуживать не стоит, то он прокламирует принцип „искусство для искусства“ (Пушкин в николаевскую эпоху, французские романтики и первые реалисты типа Флобера). „Этот разлад выгодно отражается на художественном творчестве в той самой мере, в какой он помогает художникам подняться выше окружающей среды“. Если таким образом иногда господство „чистого искусства“ является последствием „разлада“ между художником и его классом, то в других случаях оно воцаряется, когда против господствующего класса поднимается другой, и принцип „искусство для искусства“

имеет тогда своим назначением оберечь искусство от вторжения в него идей и настроений, опасных для господства командующего класса (пример Т. Готье). Если в первом из указанных случаев теория „чистого искусства" идет рука об руку с общественным индифферентизмом, то во втором случае, она связана с сознательной реакционностью. „Чем более усиливалось в новейшей Европе освободительное движение, направленное против буржуазного строя, тем сознательнее становилась привязанность к этому строю сторонников искусства для искусства". „Теперь—прибавляет Плеханов,—и Россия достигла такой высоты экономического развития, на которой сторонники теории искусства для искусства становятся сознательными защитниками социального порядка, основанного на эксплуатации одного класса другим" (Искусство и общественная жизнь). Это „чистое" искусство, столь оберегаемое буржуазией от воздействия пролетарского движения, является ли оно по крайней мере художественно-ценным?

На этот вопрос Плеханов отвечает категорически „нет".

Когда известный класс сходит со сцены, то он может создать только искусство упадочное. „По мере того, как класс созревает для гибели, идеология его утрачивает свою внутреннюю ценность." „Искусство, создаваемое его переживаниями, падает." Не в силах опереться в своем творчестве на свой класс, духовная жизнь которого иссякает, художник поневоле уходит в себя, в свое личное „я". А когда человек считает единственной реальностью свое собственное „я", тогда он не может допустить, что существует об'ективная, разумная, т.-е. закономерная связь между этим „я", с одной стороны, и окружающим его внешним миром—с другой. Внешний мир должен ему представляться или совсем нереальным, или же реальным только отчасти, только в той мере, в какой его существование опирается на единственную истинную реальность, т.-е. на наше „я". Прекращается связь худежника с „землей". Его фантазия уходит в „небо". Он становится мистиком (Искусство и обществ. жизнь). Искусство упадочного класса становится далее безидейным.

„Когда господствующие классы еще стремились вперед, то идейность не пугала их, а напротив, привлекала их. Теперь же эти классы, в лучшем случае, стоят на одном месте, и потому идейность им не нужна совсем, или нужна только в минимальных дозах" (Пролетарское движение и буржуазное искусство).

„Новейшая эстетика твердит: идейная поэзия не есть поэзия, это публицистика, это проза,—поэт ничего не только не доказывает, но и не „рассказывает". На самом деле, поэзия всегда что-нибудь „рассказывает", потому что всегда что-нибудь выражает. Конечно, она рассказывает на свой особый лад (т.-е. образом, а не логическим доводом). Но из этого вовсе не следует, что в художественном произве-

дении идея не имеет значения. Скажу больше: не может быть художественного произведения, лишенного идейного содержания. Даже произведения, авторы которых дорожат только формой, всегда выражают известное—безнадежно-отрицательное отношение их авторов к окружающей общественной среде.“ (Искусство и общественная жизнь).

Новейшая эстетика твердит: идейная живопись—это не живопись, а „литературщина“.

Но „почему живопись не должна изображать по-своему, т.-е. красками, а не словами то, что изображает литература? Задача искусства заключается в изображении всего того, что интересует и волнует общественного человека, и живопись вовсе не составляет исключения из общего правила. Замечательно, что те самые люди, которые хотели бы отделить целой крепостью живопись от литературы, часто приветствуют слияние—мнимое, невозможное—живописи с музыкой.“ (Пролетарское движение и буржуазное искусство).

К чему привела „безидейность“ в живописи? К импрессионизму. А импрессионизм сделал героем картины не человека с его многообразными переживаниями, а—свет, т.-е. ощущение. „Но ощущение света—именно только ощущение, т.-е. оно не чувство, пока еще не мысль“. Если это „реализм“, то реализм „поверхностный“, останавливающийся только на „коре явлений“. Художникам ничего другого не оставалось, как придумывать все новые световые эффекты, все более удивительные, все более искусственные. [1]) (Искусство и обществ жизнь).

Однако само буржуазное искусство в конце-концов отреклось от своей „безидейности“.

Чем выше подымались волны пролетарского моря, грозя смыть твердыню капитализма, тем „сознательнее“ становилась приверженность писателей и художников к существующему строю, а чем она становилась сознательнее, „тем менее могли они остаться равнодушными к идейному содержанию своих произведений“. Но „их слепота по отношению к новому течению, направленному к обновлению всей общественной жизни, делала их взгляды ошибочными, узкими, односторонними“, а эти ошибочные, узкие и односторонние взгляды их неизбежно понижали и самую „художественность“ их произведений, как показывает пример Ибсена, Гамсуна, Бурже и др. („Ибсен“, „Искусство и общественная жизнь“). Не остановились на „безидей-

---

[1]) В другом месте Плеханов дает более положительную оценку импрессионизма. Подчеркивая и здесь, что „безидейность первородный грех“ импрессионистов, Плеханов однако указывает и на их положительную сторону, на их технику, на то, что они изображали природу в улыбке света, в этом отношении импрессионисты работали даже для социалистического общества, которое будет любить свет не меньше, а природу больше, нежели современное (Пролет. движ. и бурж. искусство).

ном искусстве" и художники. И они решили перейти от „света" и „ощущений" к человеку с его многоразличными переживаниями. Они также стали искать „идейного содержания", „но это не так легко". Эти художники—крайние индивидуалисты и суб'ективисты, а „кто считает свое „я" единственною реальностью, неизбежно становится круглым бедняком по части идей". В результате кубизм, эта „чепуха в кубе".

Возможно ли возрождение буржуазного искусства силами самой буржуазии? Нет.

„Крайний индивидуализм эпохи буржуазного упадка закрывает от художника все источники истинного вдохновения. Он делает их совершенно слепыми по отношению к тому, что происходит в общественной жизни и осуждает их на бесплодную возню с совершенно бессодержательными личными переживаниями и болезненно-фантастическими вымыслами. В окончательном результате такой возни получается нечто не имеющее какого бы то ни было отношения к какой бы то ни было красоте". (Искусство и общественная жизнь).

Правда, в последние годы художники все чаще пытаются стать на точку зрения пролетариата, слиться с ним, вдохновляться его идеалом,—достаточно вспомнить Менье, Бисбрука и др. Но эти и им подобные художники, возродившие и возрождающие забытое „идейное" искусство, не поняли сокровенной сущности пролетарского движения, его революционности. Они изображают рабочего лишь, как „угнетенного и обиженного". Дальше этого они не идут. „Так осталось новейшее искусство глухо к стремлениям рабочего класса". (Пролетарское движение и буржуазное искусство). Таким образом искусство буржуазной поры, поры буржуазного „декаданса", безнадежно. „Оно должно быть упадочным". „Это неизбежно". „И напрасно мы стали бы возмущаться".

Так остается „научная эстетика" до конца верна своему принципу—только наблюдать, только об'яснять... Но пребывая до конца „об'ективной", она своим анализом беспощадно вскрывает „общественное зло". „Истинно-научная", она вместе с тем—„публицистическая". Но не в старом смысле этого слова, как оно толковалось „просветителями"—идеологами разночинной интеллигенции,—не в том смысле, что художественным произведением пользовались лишь как поводом, как предлогом для защиты тех или иных полезных для известного класса и его интеллигенции идей.

„Научная эстетика" публицистична по-иному.

Стоя на классовой точке зрения, усматривая в искусстве—идеологию классовую, она по нем имеет возможность судить о росте, процветании, вырождении и гибели классов и за видимо отвлеченными от жизни эстетическими понятиями и художественными обра

зами она отчетливо видит, как встают огненные письмена — „факел мене фарес", которые рука истории чертит для тех, кто обречен. В этом „великая общественная сила научной критики", и кто раз узнал эту силу, тот уж „не захочет браться за орудие критики публицистической (в ковычках), подобно тому, как человек, узнавший силу магазинного ружья, не вернется к первобытному луку" (Судьбы русской критики).

В. Фриче.

* * * * * *

Плеханов в борьбе с противниками революционного марксизма.

1.

Русский марксизм, главным основоположником и учителем которого был Плеханов, должен был неизбежно начать с критики народничества, как идейного течения, всецело господствовавшего над умами революционной молодежи того времени. Русскому марксизму необходимо было, прежде всего, завоевать себе право гражданства в умах передовой российской интеллигенции и распропагандированных рабочих. Это была долгая и упорная борьба, борьба с закоренелыми предрассудками, освященными героическим и мученическим ореолом революционеров 70-х и начала 80-х гг.

Она продолжалась с 1883 г., т.-е. с момента образования „Группы Освобождения Труда", вплоть до 1896 г., до знаменитой летней стачки 30 тысяч ткачей и прядильщиков в Петербурге, когда рабочий класс своей практикой лучше всего доказал самым упрямым или слепым людям правильность марксистской теории, и когда социалдемократия сделалась общепризнанной силой, общепризнанным фактором русской жизни.

И до самой середины 90-х годов, когда появилось новое поколение молодых марксистов (сперва Струве, сразу обнаруживший в своем марксизме определенный буржуазный душок, и потом Потресов, Мартов и особенно Ленин),—все это время главная тяжесть борьбы с народничеством и прокладывания совершенно новых путей в русской общественной мысли выпала на долю почти исключительно одного Плеханова.

Именно он, огромная идейная работа, проделанная им за эти годы, начав с привлечения немногих одиночек и небольших кружков в разных городах России, спустя 12 лет, с выходом в свет „Мо-

нистического взгляда на историю", завоевали для марксизма лучшую часть интеллигенции и наиболее сознательных рабочих.

И первая книга, с которою выступил Плеханов против народничества, знаменитые „Наши разногласия", книга изумительная по богатству и глубине содержания, силе аргументации и блеску изложения, книга, до сих пор читающаяся с захватывающим интересом и содержащая прямо пророческий анализ будущих судеб России,—эта книга создала марксизму и пламенных сторонников, и многочисленных озлобленных врагов.

Плеханов выступил с критикой обеих разновидностей русского революционного народничества: бакунизма и бланкизма (в лице Ткачева и некоторых литературных представителей „Народной Воли", особенно Тихомирова) и со своим несравненным талантом полемиста доказал всю беспочвенность их программных и тактических взглядов. Это восстановило против него весь эмигрантский муравейник обломков народнического периода русской истории. С тех именно пор, т.-е. с самого своего появления, марксизм сделался ненавистным нашей „демократической" интеллигенции за свою „резкость", прямоту, неуважение к традициям и „святыням". На Плеханова нападали за то, что он вносил раскол в революционное движение, за то, что он развенчивает все дорогие русской интеллигенции идеалы и т. п. Словом, повторилось то же, что не раз приходилось испытывать самому Марксу и накануне 1848 г., и особенно в годы эмиграции.

Во главе врагов Плеханова стал наиболее видный из оставшихся в живых публицист и практик „Народной Воли"—бывший редактор „Народной Воли" и член „распоряд. комиссии" исполн. комитета Лев Тихомиров. И неудивительно: его наиболее беспощадно развенчивал и критиковал Плеханов в „Наших разногласиях". Но ирония истории пожелала, чтобы спустя всего три года, в 1887 г., этот „столп" народничества открыто перешел на сторону самодержавия, написав брошюру „Почему я перестал быть революционером", получив прощение царя Александра III и сделавшись потом редактором самых реакционных, самых черносотенных органов печати. И в то время, как все революционеры были поражены таким почти небывалым в летописях революционного движения ренегатством, именно Плеханов в своей замечательной брошюре „Новый защитник самодержавия, или горе г. Тихомирова" дал об'ективное, научное, социально-психологическое об'яснение этому факту: он приписывал его тому душевному опустошению, которое должен был вызвать у Тихомирова окончательный крах народовольческих организаций и связанных с ними революционных надежд.

И тут же он указывал, что подобный случай, случай искреннего перехода из лагеря крайних революционеров в лагерь крайних

монархистов не может произойти в среде марксистов, идеалы и надежды которых связаны с прогрессивно растущей силой: капитализмом и неизбежным его спутником—пролетариатом.

Уже в „Наших разногласиях", на ряду с критикой теоретических взглядов народничества, мы находим также богатейший фактический статистико-экономический материал, доказывающий разрушение общины, расслоение деревни и кустарей, рост капитализма; но особенно подробно проводится и обосновывается та мысль, что в России развивается капитализм, вызывая ломку всех прежних патриархальных отношений и новые классовые группировки,—в знаменитых внутренних обозрениях издававшегося Плехановым с 1888 по 1892 г. журнала „Социал-Демократ". Эта же мысль иллюстрируется критическим разбором „Наших беллетристов—народников", где Плеханов впервые выступает, как марксистский литературный критик.

Но вся эта огромная идейная работа лишь весьма медленно делает свое дело: в России господствует душная реакция 80-х годов, да и заграничные издания Плеханова в ничтожном количестве просачиваются в Россию, воспитывая тех первых марксистов, которым потом суждено было образовать старую гвардию будущей социал-демократической, а затем и коммунистической партии.

Таким образом, в лице Плеханова, русский марксизм с первых своих шагов вступает в бой не только с самодержавием и либерализмом, но и со всеми видами и оттенками мелко-буржуазного социализма, каким по существу всегда было наше народничество. И нынешние большевики являются в этом отношении прямыми и непосредственными учениками Плеханова.

Второй этап борьбы Плеханова с народничеством—это эпоха „легального марксизма", начало царствования Николая II и некоторого общественного оживления, когда марксисты, по тогдашнему выражению Струве, „дорвались до печатных станков" и смогли, наконец, на равных правах отвечать клеветавшей на них народнической публицистике, монопольно владевшей всеми почти „прогрессивными" органами печати. Правительству выгодна была распря в демократическом лагере. Оно не понимало, что именно в борьбе лучше всего выковывается и крепнет революционная партия. В марксизме оно на первых порах не разглядело серьезной опасности. Этим и об'ясняется, что с 1894 г. марксистам удается, время от времени, пользуясь эзоповским языком и философской терминологией, проводить свои взгляды, непонятные цензуре, но понятные новым читателям.

В это именно время и появляются, под разными псевдонимами, одна за другой книги и статьи Плеханова: Бельтов „К вопросу о развитии монистического взгляда на историю", в самом конце 1894 г., затем в следующем году статья „Несколько слов нашим противникам,"

под псевдонимом „Утис" („Никто"), в сожженом цензурой, но все же попавшем в публику, сборнике и „Письмо к г. Гольцеву" в „Русской мысли", под псевдонимом „Ушаков" (обе эти статьи переизданы потом в сборнике „За 20 лет"). Наконец, в 1896 г. выходит, под псевдонимом Волгина, „Обоснование народничества в трудах г. Воронцова".

В этих книгах и в статье Утиса к обычному остроумному и язвительному тону, в котором Плеханов был всегда большим мастером, примешивается изрядная доля явного издевательства и прямого презрения; это несомненно об'ясняется тем, что, если в 1884 г., в „Наших разногласиях" Плеханов выступил против настоящих революционеров, когда еще не отзвучали последние отклики их героической борьбы с царизмом, то теперь, в середине 90-х г. он имел перед собою „легальных" народников, жалких эпигонов и крохоборов, совершенно разуверившихся в возможности победоносной революционной борьбы и ожидавших любезных им народнических „реформ" (в смысле закрепления общины, поощрения кустарных промыслов и артелей) от либерального „общества" и даже от правительства.

И Плеханов был, действительно, беспощаден к ним. О значении книги Бельтова, о том перевороте, который она произвела в умах молодежи, достаточно писалось[1]). Здесь хотелось бы отметить то впечатление, которое она (вместе со статьей Утиса) произвела на Михайловского, которому (наравне с Кареевым) досталось в ней больше всего. В начале 1896 г. пишущий эти строки должен был на одном студенческом балу познакомиться с Михайловским через тогдашнего издателя „Русского Богатства", покойного писателя Гарина. Зная меня, как заядлого марксиста, он просил меня не говорить с Михайловским о Бельтове, так как, дескать, Николай Константинович воспринимает это имя до болезненности нервно. А такие люди как Кривенко и особенно В. В. (Воронцов), после книг Плеханова сразу становились посмешищами в общественном мнении тогдашней молодежи. Полемика Плеханова буквально убивала.

Литературная борьба Плеханова с народничеством в середине 90-х г. г., подкрепленная таким внушительным доказательством, как летняя стачка 1896 г., сделала свое дело—дело идейного завоевания умов. „Революция в головах", которая, по выражению Маркса, предшествует „революции на деле", совершилась. Теперь ученики Плеханова все усилия направили на подготовку этой второй революции. Но здесь, в практической революционной работе, они столкнулись не только с оппортунизмом в собственном лагере, в лице „экономистов", но и с возрождением революционного народничества в виде партии

---

[1]) См. мои воспоминания об этой эпохе в № 3 „Красной Нови" за 1921 г.

соц.-революционеров. И в эту эпоху, в эпоху „Искры" и „Зари" 1901—1903 г., наступил третий фазис борьбы Плеханова с народничеством. С-ры были партией, утратившей теоретическую невинность бунтарей и народовольцев. Они представляли собою в теоретическом отношении эклектическую помесь мелкобуржуазного социализма и марксистского ревизионизма с политическим терроризмом, и в их рядах совмещались „либералы с бомбой" с будущими максималистами и анархистами. Само собой понятно, какую благодатную пищу давали они полемическому настроению Плеханова. Эти годы вообще были его второй молодостью, когда он с пылкостью юноши и в печати и в эмигрантских колониях, наряду с Лениным и Мартовым, сражался одновременно с народничеством и общеевропейским оппортунизмом.

В это время, в ответ на обычные обвинения в „резкости" и „нетоварищеских" приемах его полемики, Плеханов в своем кругу любил рассказывать следующий анекдот (он, как известно, был большой любитель и мастер рассказывать политические анекдоты. Пишущий настоящие строки слышал этот анекдот от Плеханова в Женеве, в декабре 1902 г.).

Народник Мысовой был предан суду за оскорбление начальника тюрьмы. На суде в своем свидетельском показании этот тюремный смотритель показал: „Когда я вошел в камеру, обвиняемый довольно резко заметил: „Пошел вон, мерзавец!"

„Так и эсеры,—добавлял Плеханов,—обижаются не на существо нашей критики, а лишь на „резкость" ее тона.

Начиная с конца 90-х годов, Плеханов выступает против нового врага революционного марксизма, на этот раз врага не только русского, но и международного. Этот враг—оппортунизм, принявший, после известной книги Бернштейна, название „ревизионизма", т.-е. стремления „пересмотреть" учение Маркса с целью вытравить из него такие „устарелые", „бланкистские" взгляды, как социальный переворот, диктатура пролетариата и т. п.

Плеханов начал борьбу прежде всего с оппортунизмом в рядах русской социал-демократии, в лице „союза русских с.-д. за границей", образованного из молодых эмигрантов, где тогда видную роль играл недавно умерший Акимов—Махновец, и также будущие члены „союза освобождения", „беззаглавцы" и „демократы" Кускова и Прокопович. Все они отрицательно относились к необходимости звать рабочих на политическую борьбу, а Кускова была даже автором документа, получившего известность под названием „Credo" („Символ веры"), который успел уже вызвать протест 17 ссыльных с.-д. с Лениным во главе. В борьбе с оппортунизмом „молодых" с.-д. Плеха-

нов был почти одинок и испытывал большие моральные страдания, при виде того, как все приезжающие из России с.-д. заражены „экономизмом", т. е. сведе́нием всей с.-д. деятельности к стачечной борьбе, кассам взаимопомощи и т. п. Памятником этой борьбы Плеханова с русским оппортунизмом является составленное им „Vademecum" для читателей „Рабочего Дела" (сборник документов, в том числе и „протест 17" против „Credo").

В конце 1900-го г. приезжают за границу Ленин, Мартов и Потресов, вместе с Плехановым, Аксельродом и Засулич начинают издавать „Искру" и „Зарю" и Плеханов оживает. Всю борьбу с русским „экономизмом" берет на себя Ленин, а Плеханов посвящает себя, главным образом, теоретической борьбе с Бернштейнианством и оппортунизмом вообще. В 1901 г. печатаются в „Заре" его замечательные статьи „Критика наших критиков", изданные потом отдельной книгой [1]). Эти статьи направлены против Струве, который тогда еще считал себя социалистом, и против самого Бернштейна, и представляют огромную теоретическую ценность, являясь, на ряду с книгой Каутского (тогда тоже революционного марксиста) „Антибернштейн", лучшим марксистским сочинением против оппортунизма.

Плеханов (так же, как впоследствии Ленин) доказывает здесь, что все попытки заменить революционный марксизм, с его непримиримой классовой борьбой и диктатурой пролетариата,—р е ф о р м и з м о м означают не что иное, как штопание капиталистического строя, которое есть по существу не борьба с капитализмом, а его защита. „Таким образом,—говорит Плеханов, наш „неомарксизм" является самым надежным оружием русской буржуазии в борьбе за ее господство в нашей стране... Мы нисколько не удивимся, если тот или другой из наших критиков дойдет в этом смысле до с т е п е н е й весьма „и з в е с т н ы х" и с т а н е т, н а п р и м е р, в о г л а в е н а ш и х л и б е р а л о в" (курсив Плеханова). Как известно, по отношению к самому Струве это пророчество оправдалось уже на следующий год, когда он основал либеральный журнал „Освобождение" и заложил основы будущей кадетской партии.

Считая, таким образом, оппортунизм, т. е. притупление классовой борьбы, отрицание диктатуры пролетариата и т. п., согласно позднейшему выражению Ленина, „проводником буржуазного влияния на пролетариат" [2]), Плеханов, конечно, понимал, что в момент рево-

---

[1]) На днях они выходят новым изданием, под заглавием „В з а щ и т у р е в о л ю ц и о н н о г о м а р к с и з м а", в издании Моск. отд. Госуд. Изд.

[2]) В статье против Бернштейна Плеханов писал: „он стал заменять классовое сознание рабочих, выступив с проповедью марксизма, „пересмотренного" им со специальной целью успокоения буржуазии". И „значительная часть образованной буржуазии хорошо поняла, до какой степени в ы г о д н о д л я н е е" такое распространение ревизионизма.

люции борьба между революционным марксизмом и оппортунизмом перестанет быть только идейной, теоретической. Вот что он писал уже во 2-м номере „Искры" в феврале 1901 г., в статье „На пороге XX века":

„Двадцатый век осуществит лучшие, радикальнейшие стремления XIX-го века. Но как ни твердо уверены мы в победе пролетариата, как ни ясно видим мы стоящую перед нами великую цель, мы не хотим обманывать ни самих себя, ни наших читателей. Мы вовсе не думаем, что нас ждет легкая победа. Наоборот, мы хорошо знаем, как тяжел путь, лежащий перед нами. Нас ожидает на нем много частных поражений и тяжелых разочарований. Не мало в течение этого пути разойдется между собой людей, казалось бы, тесно связанных единством одинаковых стремлений. Уже теперь в великом социалистическом движении обнаруживаются два различных направления, и, может быть, революционная борьба XX-го века приведет к тому, что можно будет, mutatis mutandis, назвать разрывом социал-демократической „Горы" с социал-демократической „Жирондой".

Очевидно, логика вещей заставит при этом действовать социал-демократическую „Гору", или якобинцев на подобие якобинцев классических. Что Плеханов сочувствовал якобинским методам в революции, видно уже по его статье в „Социал-демократе" 1889 г., посвященной столетию Великой французской революции. В „Критике наших критиков", в статье против Бернштейна мы читаем: „Всякий, неослепленный предрассудками человек должен... признать, что демократическая конституция совсем не обеспечивает от такого обострения классовой борьбы, которое может сделать неизбежными такие потрясения и перевороты". А из его знаменитой речи на 2-м с'езде партии видно, как мало почтения питал Плеханов к формальному демократизму. „Если бы ради успеха революции потребовалось временно ограничить действие того или другого демократического принципа, то перед таким ограничением преступно было бы останавливаться. Как личное свое мнение, я скажу, что даже на принцип всеобщего избирательного права надо смотреть с точки зрения указанного мною основного принципа демократии [1]). Гипотетически мыслим случай, когда мы, социал-демократы, высказались бы против всеобщего избирательного права... И на эту же точку зрения мы должны были стать и в вопросе о продолжительности парламентов. Если бы в порыве революционного энтузиазма народ выбрал очень хороший парламент—своего рода chambre introuvable,—то нам следовало бы стараться сделать его долгим парламентом; а если бы выборы оказались не-

[1]) Т. е., что „успех революции—высший закон".

улачными, то нам нужно было бы стараться разогнать его не через два года, а если можно, то через две недели".

Таким образом, можно предположить, что, если бы ирония истории в начале мировой войны не поместила самого Плеханова в ряды социал-демократической Жиронды, если бы он жил до сих пор, оставаясь верным своим взглядам начала 1900—х годов, то в практической борьбе с противниками революционного марксизма он стал бы на позицию III Интернационала.

Б. Горев.

* * * * * *

Борьба Г. В. Плеханова с экономизмом.

Экономизм не специфическое российское явление. Не одна наша партия страдала этой болезнью детства. Почти все политические организации рабочего класса во всем мире в той или иной связи, в той или иной форме, в тот или иной промежуток времени переживали этот кризис, являющийся неизбежным спутником политического движения рабочего класса.

Уже на первых ступенях развития перед политическими организациями пролетариата становится целый ряд труднейших вопросов, от правильного решения которых зависит судьба этих организаций. Вопрос об авангарде и его отношении к массе,—который часто в конкретной обстановке делается вопросом об отношении партии к массе; об отношении планомерного к стихийному; вопрос об отношении экономики к политике в рабочем движении, который ставится и решается в тесной связи с предыдущими, вот те вопросы, которые неизбежно встают перед партиями пролетариата на первых порах.

Наша партия очень скоро заразилась этой болезнью—перед ней очень рано встали эти злободневные вопросы, как актуальные. Уже к концу 90-х годов обнаружилось, что „практики" иначе представляют себе задачи рабочей партии, чем теоретики. Одним из существенных спорных вопросов был вопрос о форме, в которую должно вылиться политическое движение рабочего класса. Должна ли быть эта партия централизованная, крепко спаянная боевая организация, или она станет более или менее „широкой" партией. Очень скоро однако, так наз. „теоретикам", т.-е. „Группе освобождения Труда", удалось сделать общепризнанным то положение, что нашему движению необходима организация такого типа, который существовал в России во второй половине семидесятых и в начале восьмидесятых годов (организации общества „Земля и Воля" и „Партия Народной Воли") и который оказал тогдашним русским революционерам такие огромные нео-

ценимые услуги" [1]). Каков же был этот тип организации? — Это была подпольная, высоко централизованная и дисциплинированная организация. Мудрено ли, что спустя 10—12 лет после этого Г. В. Плеханов выступил с такой горячностью „в защиту подполья"? Еще в начале девятисотых годов в момент решения вопроса о типе и форме организации партии, Плеханов „защищал" не только идею подполья, но и идею той формы организации пролетарской партии, которая на наших глазах становится во всем мире сегодня преобладающим типом пролетарских политических организаций. Но это были лишь первые симптомы приближающей общей тенденции „пересмотреть" тактику партии. Уже к 1897 году за границей у „Группы Освобождения Труда" создалось совершенно ясное представление об этой угрожающей волне. В своем предисловии к брошюре тов. Ленина (вышедшей в 1898 г. анонимно) „Задачи русских социал-демократов" П. Б. Аксельрод заявляет определенно, что „более молодые товарищи, сравнительно недавно попавшие за границу", за редким исключением держатся тактических взглядов, „довольно далеких от тех практических воззрений, на почве которых стоит автор брошюры" (т.-е. т. Ленин). Каких же воззрений держался тов. Ленин в этой брошюре? Тех самых, которые не раз излагались „уже в первых русских социалдемократических изданиях—в заграничных брошюрах и книгах „Гр. Осв. Тр." Тем самым, следовательно, новое движение было совершенно определенно с самого же начала оппозиционным по отношению к „Группе Осв. Тр." и ее тактике. П. Б. Аксельрод в другом месте об этом говорит более определенно. Около 1897 года „в лагере русских социал-демократов, — пишет он, — начало формироваться течение, оппозиционное и даже прямо враждебное духу и содержанию принципов излагавшихся много раз и изложенных уже в первых социал-демократических изданиях" [2]), а несколько спустя мы уже имеем совершенно определенную тенденцию среди части русских с.-д. „к искусственному задержанию русской с.-д. на примитивной ступени развития" [3]).

То же самое, но в гораздо более определенных выражениях утверждает Г. В. Плеханов: „... в 1898 году в среде „молодых" членов „Союза русских социал-демократов" господствовало „экономическое" направление" [4]).

В чем сущность „экономического" направления? Чего хотела „экономическая" оппозиция и откуда она взялась? Постараемся в нескольких словах ответить на эти вопросы. Наиболее яркие представители этого течения г. М. М. и N. N. (С. Пропопович и Е. Кускова) в таких

---

[1]) Г. В. Плеханов. Коммент. к проекту прогр. РС-ДРП.—Заря № 4.

[2]) П. Б. Аксельрод Письмо в Ред. „Раб. Дело"—Жен. 1899.

[3]) Ibid. стр. 6.

[4]) Vademecum, стр. XLVI.

словах формулируют основные положения этого направления. „Основной закон“, который можно вывести при изучении рабочего движения,—линия наименьшего сопротивления“; было время, когда такой линией на Западе была „политическая деятельность“,—это было в эпоху создания „Комм. Манифеста“. „Но когда в политической деятельности была исчерпана вся энергия“, когда на арену выступила неорганизованная „черная масса“,—тогда стал неизбежным „кризис марксизма“. Внимательное наблюдение за ходом развития рабочего движения от 1848 г. до бернштейниады привело автора „Credo“ к тому заключению, что подготовляется коренное изменение, которое понемногу и совершается: „Изменение это произойдет не только в сторону *более энергичного ведения экономической борьбы, упрочения экономических организаций*, но главное, и это *самое существенное*, в сторону изменения отношения партии к остальным оппозиционным партиям. Марксизм нетерпимый, марксизм отрицающий, марксизм примитивный, уступает место марксизму демократическому, и общественное положение, положение партии в недрах современного общества должно резко измениться. Партия *признает* общество, ее узко-корпоративные, в большинстве случаев, сектантские задачи расширяются до задач общественных, и ее стремление к захвату власти преобразуется в стремление к изменению, к реформированию современного общества в демократическом направлении, приспособительно к современному положению вещей, с целью наиболее удачной, наиболее полной защиты прав трудящихся классов“; такая чрезвычайно четкая формулировка автора „Credo“ применима к экономистам с большой оговоркой—не все шли *так далеко*, однако у всех основная тенденция была аналогична, и „Credo“ было общею всему экономизму идеальной формулировкой. Основное положение его, что „линия наименьшего сопротивления у нас никогда не будет направлена в сторону политической деятельности“,—экономизмом принималось за несомненное положение, вследствие чего он должен был усвоить и утверждение автора „Credo“, что разговоры о самостоятельной рабочей политической партии суть не что иное, как продукт переноса чужих задач, чужих результатов на нашу почву“. Не менее радикально и решительно расправлялся с марксизмом и тактикой „Гр. Осв. Тр.“ другой автор; в своем письме к П. Аксельроду он пишет, что его точка зрения „далека как от Шульца-Делича, так и от *некоторых положений* Комм. Ман.“ (курсив мой—*В. В.*) К числу „некоторых“ положений принадлежит вопрос о социальной революции: „После Бельгии мне стало стыдно теперь говорить о социальной революции...“ К тому же разряду вопросов при-

[1]) Vademecum.

надлежит вопрос о том, должен ли рабочий класс бороться за свержение самодержавия: „Говорить теперь, пропагандировать рабочим свержение самодержавия, а, **значит, просто-напросто, революцию** (курсив мой—*В. В.*),—это значит подвергать их величайшей опасности, какая только была возможна в истории". А что же делать рабочему классу в России?—„ничего не ожидая, ни на кого не возлагая надежд, самим рабочии, при существующей форме правления, теперь, немедленно, неустанно и шаг за шагом добиваться политических прав". Нужно ли еще умножить число цитат, чтобы стало ясно, какое лицо имела оппозиция? В брошюре, направленной против „Гр. Осв. Тр." и ее программы имеется еще одна формулировка, не лишенная интереса: „... до сих пор в России не было политической агитации, и мы полагаем, что для нее пока еще нет в России места". Итак, экономическое направление выступило противником сознательного руководства авангардом пролетариата, его движением, против организованной политической агитации и за борьбу на основах повседневных экономических требований и запросов рабочего класса.

Чем было вызвано появление такого направления?

Оно было вызвано рядом причин. Широкое рабочее движение, вызванное стремительным развитием капитализма предшествующих лет, голодом 90 г.г. и другими причинами, должно было вывести социал-демократию из состояния просветительско-пропагандистской и сделать ее вождем рабочего движения и сообразно с этим должно было привести к замене пропаганды—агитацией. Этот переход, как и всякий переход более или менее значительный, не мог обойтись без суровой самооценки, анализа проделанной работы, сравнительной оценки методов работы

В эпоху такой критической работы попутчики, чуждые элементы, мелко-буржуазно-интелигентская периферия партии всегда более или менее радикально, более или менее решительно отступает от раз установленной линии, но всего чаще не попадает на правильный путь, намеченный рабочей партией, и приступает к „критическим" пересмотрам, пока совершенно не отойдет от основного ядра, либо (что случается всего реже) не примкнет к пути, намеченному партией.

Наши экономисты и были подобным результатом роста партии. Жизнь и вместе с ней партия на много переросли границы понимания мелко-буржуазной интелигентской периферии.

Г. В. Плеханов быстро уловил в этом первом практическом оппортунизме ряд общих черт с первым теоретическим оппортунизмом, которые ярко проявились в лице бернштейнианства и „легального марксизма". И Тахтарев[1]) и Маховец[2]) рассказывают о первых встре-

[1]) „Петербургское рабочее движение".—„Ж. и Зн."—1917 г.

[2]) „Очерки по ист. с.-д. в России"—Пб. 1906 г.

чах в Швейцарии Плеханова с так наз. „молодыми“, т.-е. теми, которые впоследствии составили „экономическое“ направление. Оба принадлежат к экономистам и оба одинаково вынуждены признавать, что со стороны Г. В. Плеханова они встретили жестокий отпор. Не имея возможности останавливаться подробнее на этих свидетельствах, весьма интересных, отсылаем товарищей читателей к этим воспоминаниям и очеркам, а мы ограничимся лишь печатными выступлениями Г. В. Плеханова против экономистов.

В то время, как „Рабочая Мысль“ охотно признавалась в своем приверженстве к экономизму, „Рабочее Дело“ упорно отказывалось и доказывало, что не только оно само не придерживается экономизма, но что такого направления в русском рабочем движении не существует. Плохой признак, когда начинают отрицать очевидные вещи. Плеханову предстояло доказать редакции „Рабочего Дела“, что, во-первых, экономическое направление—несомненный реальный факт и, во-вторых, что само „Рабочее Дело“ грешит, весьма и весьма ощутимо этим грехом. С этой целью он выпустил в самом начале 1900 года книжечку под названием Vademecum для редакции „Рабочего Дела“, в которой он собрал все документы и заявления по этому вопросу, и снабдил их предисловием, где подробно, пункт за пунктом, разбирал и разбивал все доводы экономистов. Обстоятельно и отрывками доказав, что редакция „Р. Д.“ никак не могла не знать о существовании такого направления, он приступает к разбору документов. В письме к Аксельроду г. М. М. говорит, что после Бельгии ему стыдно говорить о социальной революции. „О какой революции говорит он? О той, которая передала бы власть в руки пролетариата и тем положила бы конец господству капиталистов“? но г. М. М. ни на чем не основанно утверждает, что т а к а я революция противоречит „реальным интересам рабочих.“ Наоборот. Г. М. М. так ставит вопрос потому, что он не усвоил себе материалистического понимания истории,—он идеалист чистейшей воды. Он не понимает такой простой вещи, что интелигентная социал-демократия играет в высокой степени важную роль в деле „уяснения рабочему классу их реальных интересов“ и что, „занимаясь этим важным и благородным делом, она не только м о ж е т, но и д о л ж н а говорить и о социальной революции, и о захвате власти рабочим классом, так как и та, и другой—и революция, и захват,—представляют собою необходимое предварительное условие окончательного освобождения рабочего класса от капитализма“. Эти люди совершенно открыто считают нелепостью толковать в русской рабочей массе о свержении самодержавия, о социализме, об уничтожении капитализма...

„Группа Осв. Тр.“ пыталась поставить вопрос об их исключении из партии.—„Когда пишущий эти строки поднял вопрос об исключе-

нии из партии госп. NN, как человека, совершенно отрицающего точку зрения социальной демократии... мое предложение вызвало горячий протест со стороны наших „молодых“, объявивших, что они считают и будут считать его своим товарищем. NN остался в „Союзе русс. соц. дем.“, и брошюра, которую он написал против „Гр. Осв. Тр.“, ярче всего говорит, что у ней все осталось на том же месте—NN оказался неисправимым оппортунистом. Мы уже привели выше несколько ярких примеров из нее. Вот еще один перл: „политическая агитация может быть начата лишь тогда, когда сами рабочие самопроизвольно (без революционной бациллы интеллигенции) начнут борьбу с самодержавием“. Г. В. Плеханов совершенно справедливо указывает этим ярым сторонникам „агитации на экономической почве“, что еще задолго до них народовольцы-бунтари прекрасно усвоили себе ту простую мысль, что „агитация должна опираться на ближайшие экономические нужды рабочего класса“, эта правильная, но старая мысль, однако, очень далека от той, что проповедуют сторонники „экономического направления“, и „Гр. Осв. Тр.“ „восстает не против агитации на экономической почве, а **против тех агитаторов, которые не умеют воспользоваться экономическими столкновениями рабочих с предпринимателями для развития политического сознания производителей**“ (курсив его В. В.).

Это не в бровь, а в глаз экономизму. Спор идет не о том, нужна ли агитация на экономической почве, а о том, нужно ли использовать столкновения рабочих с капиталистами для пробуждения политического сознания рабочего класса? Западно-европейское рабочее движение, вопреки уверениям г. NN и М. М., тоже имело аналогичный бунт против политики, но там так же, как и на русской почве, он был выведен на свежую воду революционной социал-демократией.

После опубликования такого путеводителя, редакция „Раб. Дела“ разумеется не могла утверждать ни то, что она не ведает о существовании экономизма, ни то, что у самой у ней очень не прикрытые симпатии к этому „направлению“. Вновь в порядке дня социал-демократии, как и 17—18 лет тому назад, встал вопрос об отношении социализма к политической борьбе, и Г. В. Плеханов снова взялся указать друзьям справа какие же политические задачи лежат перед нашими социалистами. Он это сделал в первом же номере „Зари“ в статье „Еще раз социализм и политическая борьба“. В первый раз Плеханову пришлось бороться с народниками, с их предрассудками: „**социалисты второй половины семидесятых и первой половины восьмидесятых годов неправильно понимали политические задачи отчасти потому, что они усвоили от анархистов противоположение социа-**

лизма политике, а отчасти потому, что они держались ошибочного взгляда на так называемые „устои“ нашей старой экономической жизни —„Гр. Осв. Тр.“, выступившая против этого воззрения под лозунгом „Всякая классовая борьба есть борьба политическая“, вскоре самим ходом вещей была оправдана и поставлена во главе самого передового отряда революции—рабочего класса. Однако экономизм с несомненностью обнаружил, что в среде этого авангарда появились попытки восстановить старые, уже изжитые формы движения и лозунги.

В этой статье Плеханов доказывает нашим экономистам с такой же терпеливой настойчивостью, с какой он это сделал с народовольцами, что рабочий класс не может вести экономическую борьбу, не превращая ее в политическую, и что сонная-демократия не может быть партией рабочего класса, не используя экономическую борьбу его для политической агитации, она не может стать авангардом пролетариата. Еще до экономистов, автор брошюры „об агитации“ допустил ряд ошибок, дальнейшее развитие которых должно было несомненно привести к экономизму.

„Логика этой брошюры,—говорит Плеханов,—ясна и недвусмысленна: чисто экономическая агитация не только возможна, не прямо обязательна в течение целых двух „фазисов“ нашего рабочего движения. И, пока не кончились эти „фазисы“, существование у нас чисто экомического направления не только возможно, но вполне законно и очень желательно“. Брошюра ,Об агитации“ принесла не мало пользы, но в ней существует ряд таких дефектов, которые сделали ее „евангелием чистых экономистов“. К числу таких непозволительных грехов принадлежит смешение понятия „класс“ с понятием „партия“,— совершенно так же, как это смешивают и экономисты. Но „иное дело в е с ь р а б е ч и й к л а с с, а иное дело социал-демократическая партия, представляющая собой лишь передовой и в начале очень малочисленный отряд рабочего класса“.— Рабочий класс в своем большинстве может оказаться не достаточно подготовленным к политической борьбе," но из этого далеко еще не следует, что „момент такой борьбы еще не настал д л я п а р т и и, задающейся целью политического восстания этого класса. Для партии момент п о л и т и ч е с к о й б о р ь б ы наступает каждый раз, когда она встречает повод для политической агитации, а у нас в России поводы для такой агитации встречаются никак не реже, чем поводы для агитации на экономической почве“. Пример, который он приводит несколькими страницами позже, показывает, что он имеет в виду такие поводы, какие в России, действительно, повторялись каждодневно. Одесский градоначальник воспретил „простонародию“ ходить по тро-

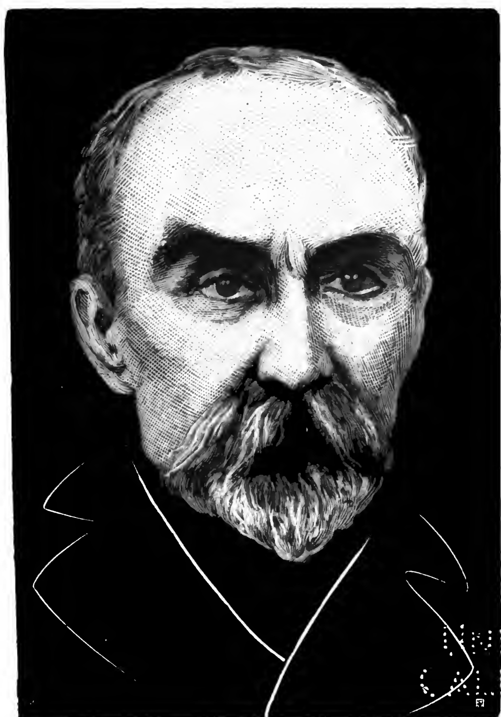
туарам. Такое оскорбительное для рабочих проявление крепостнического самодурства нельзя было не отметить. С.-Д. должна была открыто высказать то, что чувствовали рабочие, поставив „частные случаи административного произвола в связь со всей правительственной системой, и бичуя одесского сатрапа, зацепить петербургского самодержца“. Вопрос о политической борьбе—это не вопрос о методах ее ведения. Вопрос о приемах политической борьбы—вопрос целесообразности: печатное слово, устная агитация, демонстрация—все эти и иные средства применяются, сообразуясь с обстоятельствами времени и места, не в этом может быть спор—вопрос идет о том, когда начать политическую борьбу, и, следовательно, политическую агитацию. „Я думаю,—говорит Плеханов,—что политическая борьба должна быть немедленно начата нашей партией... и, что политическая борьба нашей партии явится одним из самых мощных факторов дальнейшего развития рабочего класса“. Другой вопрос, который явился более существенным для партии,—это вопрос об отношении к другим оппозиционным партиям. Конечно, бояться сближения с оппозиционными партиями нашей партии нечего. Нужно лишь при этом заботиться о том, чтобы „они не подчиняли нас своему влиянию и руководству“—но последнее станет совершенно неизбежным, если последовать за экономистами. Они стремятся превратить социал-демократию в партию демократов. „Но превращение социал-демократов в простых демократов именно и означало бы забвение классовой борьбы и сближение пролетариата с буржуазией“. Партия, которая не желает убить самое себя, не может стать на точку зрения этого направления. „Наша партия... возьмет на себя почин борьбы с абсолютизмом, а, следовательно, и гегемонию в этой борьбе“.

Так Г. В. Плеханов обрушился с сокрушительной силой на этот российский вид опортюнизма, искусно обнаружив в нем несомненное буржуазное содержание и антипролетарскую тенденцию.

Сделать это было равносильно добить его. После первого номера „Зари“ полемика между ней и „Искрой“, с одной стороны, и „Рабочим делом“, с другой, приняла крайне обостренный характер, но экономизм от этого ни на иоту не выиграл. Единственно, что он сделал,—это понял всю опасность открытого разговора и перешел на почву „педагогии“, как выразился Б. Кричевский. „Тот не социал-демократ, кто не признает необходимости политической борьбы рабочего класса“ [1]), но и на почве такого признания возможны разногласия и разногласия существующие между „Гр. Осв. Тр.“ и „Союзом русс. соц.-дем.“ ,он думает, объясняются разным подходом к вопросу. По мнению экономистов, нужна «известная постепенность в

---

[1]) „Раб. Дело“ № 7, стр. 2.



ГЕОРГИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
ПЛЕХАНОВ.

ГРАВ. НА ДЕРЕВЕ

агитационной деятельности наших организаций, сообразующейся с уровнем данного слоя рабочих"... Эта постепенность является лишь „необходимым педагогическим приемом, в интересах прочного вовлечения массы в движение и развития ее классового сознания" [1]). Это сказано очень осторожно, тон сбавлен значительно, от оппозиции нападающей—перешли к оппозиции защищающейся, но суть разногласия ни в коей мере нельзя было считать изжитой и исключенной, наоборот, чем далее, тем все явственней становилось оппортунистическое существо экономизма, даже или скорее, особенно после того, как были со сцены устранены М. М. и N. N., лицемерным нападением на которых „Рабочее Дело" скрывало свое истинное оппортунистическое лицо. В № 8 „Рабочего Дела" В. Ив-н (Иваншин) обсуждает „организационные задачи русского рабочего движения", ухитряясь ни разу не останавливаться на политической стороне организационной работы партии рабочего класса. Но уже номером спустя А. Мартынов вынужден был признаться что „по мере распространения нашего рабочего движения в нем все сильнее и сильнее начинает пробиваться политическая струйка" [2]),—но какое это признание и в какой форме оно выражено?

Номер 10 „Рабочего Дела" посвящен вопросу о разногласиях между „Искрой" и „Зарей" и экономистами. И Б. Кричевский („принципы, тактика и борьба" и А. Мартынов („обличительная литература и пролетарская борьба") заняты этим.

Плеханов ответил на это едко и очень остро статьей „о тактике вообще, о тактике николаевскего генерала Реада в частности и о тактике Б. Кричевского в особенности" (Искра, № 10, от 1 ноября 1901 г.), в которой против точки зрения „диллетантов социализма" на отношение практики и тактики выдвигает свое понимание этого сложного тонкого вопроса, на котором не один социалист спотыкался.

В социалистической литературе не редко встречается мнение, что „если люди согласны между собой в принципах, если они стремятся к одной общей цели, то они—товарищи и должны оставаться таковыми", тактические разногласия между ними—второстепенная частность—не могут и не должны привести к разряду. Однако такое мнение может быть объяснено исключительно невнимательным отношением к предмету. Таким людям кажется, что между принципами и тактикой—непроходимая пропасть. „На самом деле такой пропасти не существует, и вот почему тактические разноглаоия, перейдя известный предел, превращаются в разногласия

---

1) „Раб. Дело" № 7, стр. 10.
2) „Раб. Дело" № 9, V 1901 г.

принципиальные. Пример приводит он из жизни французских социалистов доказывая, что разногласия между Жоресом и Гедом достигли таких размеров, что они сделали невозможным всякий разговор о совместной работе. „Тактические разногласия, существующие между этими старыми борцами (Гэдом, Вальяноии др.) и красноречивым другом его превосходительства барона Мильерана несомненно достигли теперь таких размеров, что стали принципиальными". Читателю может казаться это утверждение ошибочными вследствие последовавшего затем слияния этих двух частей социалистической партии. Однако нетрудно бы то бы доказать, что от того, что деятели французской социалистической партии пренебрегли этим фактом принципиальных разногласий и объединились, выиграло отнюдь не революционное крыло, не продетарская часть ее. Да, затем, из повестей истории последующего периода можно было бы привести не мало доказательств правильности этого диалектического превращения тактических разногласий в принципиальные.

Вспомните историю раскола нашей партии в 1903 году и дальнейшее развитие обеих ее фракций, превратившихся очень скоро в две партии, в два принципа.

Когда говорят о принципах, то подразумевают формулировку конечной цели, социализма, однако забывают, что кроме этого „существуют еще те принципы, на которые опирается тактика борьбы за эту цель. Как бы не было единомыслие между группами о конечной цели социализма, но „люди, не согласные между собою в этих прин— ципах не могут итти вместе'.

Единомыслие по вопросу о конечных целях, следовательно,— это совершенно не достаточное основание для совместного действия и объединения двух или нескольких социалистических групп, „необходимо, чтобы ни одна из них не придерживалась такой тактики, которая могла бы показаться другой группе вредной для развития классового самосознания рабочих. Это предел, который не может и не должен быть перейден. Как только тактические разногласия между двумя группами перешли за него, они приобретают принципиальное значение, и тогда разрыв становится неизбежным: препятствовать ему, значит вредить делу".

Этому совершенно правильному и глубоко революционному тактическому закону экономисты, само собой разумеется, удовлетворить не могли. Настойчивость, с которой „Рабочее Дело" продолжало прежнюю проповедь опортунизма под разными прикрасами по различными изменениями, приспосабливая его к российской действительности,— нивкакой мере не могла способствовать ни слиянию, ни сближению. „Осиная-демократическая Жиронда" [1]), о которой

1) На пороге XX в."—Искра М: 2. февр. 1901 г.

Г. В. Плеханов говорил в самом начале XX века, уже пробивала себе дорогу на его глазах,—мудрено ли было, что он, представлявший тогда социал-демократическую гору", с такой яростной и безжалостной силой бил по ним. Бил не только он, вскоре начала бить по экономистам и жизнь.

Уже в январе 1902 года он имел возможность в передовице к „Искре" № 14 писать: „Давно-ли люди, мнившие себя опытными „практиками", старались убедить „теоретиков" в том, что „толковать рабочей массе в России об уничтожении капитализма, о социализме, наконец, об уничтожении самодержавия вообще, нелепость", и резко порицали группу „Осв. Тр." за то, что она будто бы хотела взять самодержавие на ура". Теперь голоса таких „критиков" окончательн смолкли, теперь даже неисправимые „экономисты", стараются придать своим речам политический оттенок". Он был очень прав в своем утверждении. К II съезду партии „экономисты", составлявшие большинство в „Союзе русских соц.-дем.", стали незначительной группой, не связанной с широкой местной работой, во всяком случае на II съезде „экономическая" точка зрения была представлена совершенно незначительным количеством мандатов.

Весьма интересно то обстоятельство, что несмотря на полную победу точки зрения Плеханова—„Искры" в борьбе с экономистами, на втором съезде он в начале еще не чувствует себя свободным от боязни, что между ними—„теоретиками" и „товарищами из России"—„практиками" возможны разногласия по вопросам тактики. Вот один пример: говоря по поводу заявления т. Егорова, (экономист) протестовавшего против действия председателя, который не остановил Павловича (Красиков). Плеханов, между прочим, замечает: „Нет, съезд есть самая высшая партийная инстанция и тов. Павлович, доложив съезду этот инцидент, ни в коем случае не нарушил партийной дисциплины"— Последовавший на это утверждение „шумные аплодисменты" убеждают его в полной солидарности между ним и съездом в толковании партийной дисциплины и он продолжает: „Говоря о дисциплине, я не знал, как смотрят на нее товарищи, работающие в России. И вот, я вижу, что большинство товарищей разделяют мое мнение" [1]). Очень скоро он почувствовал, что „товарищи из России" в значительной части согласны с ними—„теоретиками" не только по вопросу о дисциплине. На съезде экономисты занимали крайнее правое крыло его и когда съезд постановил ликвидировать „Союз",—они ушли, со с'езда. Дальнейшая судьба их нас очень мало занимает. Г. В. Плеханову после II с'езда еще один раз пришлось вспомнить старый спор с экономистами, когда ему в руки попала прокламация Костромского комитета.

---

[1]) Протоколы II с'езда Р.С.-Д.Р.П.—стр. 1—2, 1—3.

Это воззвание-листовка наряду с целым рядом несомненных достоинств имеет один недостаток, что оно говорит рабочим о конечной цели нашего движения не достаточно ясно и определенно- В наших книгах и прокламациях цель не должна отступать на задний план перед средством. Речь идет не о второстепенных целях,—а именно о „великих целях", он имеет в виду „не те реформы, которые рабочий класс, опираясь на свои политические нрава, вырвет у буржуазного общества, а ту революцию, которую он совершит, добившись политической власти, (курсив мой—В. В.)икоторая будет состоят в замене буржуазных отношений производства социалис тн ческнми". Всякая неясность и неточность в этом вопросе, „если бы они сделались обычным явлением в нашей печатной и устной пропаганде, то стала бы почти незаметной пограничная черта, отделяющая революционную сопи ал-демократию от тех буржуазных партий, которые сладкими речами о социальной реформе хотели бы отговориться от социальной революции". Эти последние остатки былого экономического направления нашей партии очень скоро были изжиты. И пролетариат и партия стояли перед совершенно новой эпохой и новыми задачами. Старые вопросы и старый спор отходили на задний план, ибо сама жизнь отстранила оппозицию в лице экономического направления. Или было бы лучше, если бы мы сказали,«—под влиянием развития рабочего движения и катастрофического приближения революции старый оппортунизм рассосался, чтобы дать место новому, имеющему более современный вид и умеющему лучше приспосабливаться к требованиям той группы рабочего класса, которая всюду и является настоящим источником оппортунизма,——рабочей аристократии.

Первая вылазка оппортунизма в нашей партии была побита решительной и быстрей, чем в какойлибо иной партии. Это объясняется в значительной мере условиями развития рабочего движения в нашей стране, но и при всем том гигантские заслуги в этом деле принадлежат Г. В. Плеханову. Если роль передовых личностей „заключается прежде всего в содействии тому чрезвычайно важному по своим практическим последствиям процессу, благодаря которому сознание массы приходит в соответствие с ее положением" [1]), то Г. В. Плеханов свою роль такого передового человека выполнил блестяще; в деле приведения сознания масс в соответствие с ее положением на этом конкретном вопросе роль его была чрезвычайно. велика.

В. Ватная.

1) „Заря" М 4. еще раз ,Соц. в под. Борьба".

Ф. Энгельс о П. Л. Лаврове и П. Н. Ткачеве [1]).

Статья Энгельса, впервые появляющаяся на русском языке, написана была в разгар полемики между „бакунистами“ и „марксистами“, принявшей особенно резкие формы после Гаагского конгреса (сентябрь 1872), на котором Бакунин был исключен из Интернационала. По поручению конгреса, особая комиссия, в которую между прочим вошли Маркс и Энгельс, француз Дюпон и известный венгерский социалист, член Коммуны, Франкель, опубликовала все документы, относившиеся к деятельности основанного Бакуниным общества. Действительными авторами этого доклада (L'Alliance de la dèmocratie socialiste et l'Association internationale des travailleurs. Londres, 1873) были Энгельс и Лафарг. Как часто бывает в таких случаях, книга запоздала и вышла в такое время, когда Бакунин и Нечаев, которым она была посвящена, сошли со сцены: первый заявил публично о своем отказе от всякой политической деятельности, второй только что был осужден в России на 20 лет каторги.

Лавров тогда едва только начал освобождаться от идеалистического социализма, который так характерен для автора „Исторических писем“. Кабинетный ученый, в жизни воплощение „категорического императива“, он с трудом приспособлялся к революционной эмигрантской среде, хотя очень добросовестно старался понять совершенно чуждые ему условия и требования практической борьбы. Теоретически он все более подчинялся влиянию марксизма, и как раз с 1874 г. он превращается в социал-демократа, столь же эклектичного и столь же непоследовательного, как и многие немецкие социал-демократы того времени, в головах которых мирно уживались Маркс, Спенсер, Бокль и Дюринг.

Одним из толчков в этом направлении явилась для него неожиданная полемика с самым блестящим участником Нечаевского процесса, П. Ткачевым. Именно она вынудила его, при всей неохоте к резкой полемике, выступить с горячей отповедью тем революционерам, которые, как Ткачев. требовали, чтобы революция „сейчас же“ и „во что бы то ни стало“ была „сделана“. И Энгельс совершенно верно указывает, что Лавров, только что отказавшийся выступить против Бакунина и Нечаева, вынужден был—в полемике с Ткачевым—сделать это с не меньшей резкостью, чем авторы критикуемого доклада.

Надо прибавить, что статья Энгельса не помешала его личному сближению с Лавровым. Наоборот, отношения между ними стано-

---

[1]) Ф. Энгельс. „Эмигрантская литература“—ст. из „Der Volksstaat“ 1874 г., №№ 117 от 6 октября, перев. Я. Витвинд.

вятся теснее,и начавший выходить в 18751'. двухнедельный „Вперед" является одним из главных пропагандистов учений Маркса и Энгельса в России, знакомя самым обстоятельным образом русских революционеров с западно-европейским рабочим движением. Насколько Лавров к концу 70-х годов усвоил себе взгляды, защищавшиеся Марксом и Энгельсом в начале 70-х годов, лучше всего показывает его прекрасная книжка о Парижской Коммуне.

Д Рязанов.

4.

В Лондоне выходит на русском языке непериодическое обозрение под заглавием „Вперед1". Оно редактируется лично высоко уважаемым русским ученым, которого назвать нам запрещает господствующий в русской эмигрантской литературе строгий этикет. Даже те русские, которые себя выдают за форменных революционных людоедов, которые об'являют предательством революции уважительное отношение к чему бы то ни было, отдают в своей полемике дань уважения штемпелю анонимности, сшепетильностью, подобную которой можно встретить лишь в английской буржуазной прессе; они относятся к нему уважительно даже там, где он, как вданном случае, становится смешным, ибо вся русская эмиграция и русское? правительство прекрасно знают, кто под ним скрывается. -

Нам, конечно, не придет в голову разболтать без всяких оснований столь хорошо хранимую тайну; но так как назвать его как-нибудь нужно, то редактор „Вперед", будем надеяться, простит нам, если мы будем его называть в этой статье, краткости ради, излюбленным русским именем Петр!

Друг Петр в своей философии является знлектиком, который изо всех различных систем и теорий старается выбрать то, что в них есть наилучшего. „Испытайте все и наилучшее сохраняйте!" Он знает, что во всем есть своя дурная и своя хорошая сторона, и что хорошая сторона должна быть усвоена, а дурная удалена. А так как каждая вещь, каждая личность, каждая теория имеет эти две стороны — хорошую и дурную, то каждая вещь, каждая личность, каждая теория представляется в этом отношении приблизительно настолько же дурной и настолько же хорошей, как и всякая другая. С этой точки зрения было бы нелепо горячиться в защиту или против одной или другой из них. И с этой точки зрения вся борьба и все споры революционеров и социалистов между собою должны казаться чистыми пустяками, способными только радовать врагов. И вполне-понятно, что человек таких взглядов делает попытку собрать все эти взаимно борющиеся группы под одно знамя и серьезно их убеждает не. доставлять больше реакции этого скандального зрелища. а заняться исключительно атакою на общего врага. Эта тем более есте-

ственно для человека, только что явившегося из России, где рабочее движение, как известно, так колоссально развито.

„Вперед" непрестанно зовет к единству всех социалистов или, по меньшей мере, к избеганию всякой публичной свары. Когда попытки бакунистов, посредством фальшивых махинаций, лжи и обмана, подчинить своему господству Интернационал, вызвали известный раскол в этой ассоциации, „Вперед" опять-таки взывал к единству. Этого единства можно было, конечно, достигнуть тем, чтобы сейчас-же отдаться на волю бакунистов и предать Интернационал, связанный по рукам и ногам, их тайному заговору. Однако, хватило сознательности не делать этого, перчатка была поднята: Гаагский конгресс вынес свое решение, выбросил вон бакунистов и постановил опубликовать документы, оправдывающие это исключение.

Громки были вопли в редакции „Вперед", что дорогому „единству" не было принесено в жертву все рабочее движение. Но еще больше был ужас, когда компрометирующие бакунистские документы, действительно, появились в отчете Комиссии (см. „Заговор против Интернационала", немецкое издание, Брауншвейг, Браке). Предоставим слово самому „Вперед".

„Это издание носит на себе характер желчной полемики противу личностей, стоящих в первых рядах федералистов, а содержание брошюры оказалось полным частных фактов, которые не могли быть собраны иначе, как по слухам, и, следовательно, достоверность которых не могла быть неоспоримою для составителей". Чтобы доказать людям, выполнившим постановление Гаагского конгресса, какое великое преступление они совершили, „Вперед" указывает на фельетоны некоего Карла Талера в „Neue Freie Presse". Вышедши из буржуазного лагеря, они заслуживают особенного внимания, потому что они яснее всего показывают, какое значение для общих врагов рабочего сословия, для буржуазии и государства, могут иметь взаимно-обвинительные памфлеты борцов за власть в среде рабочих".

Заметим, прежде всего, что здесь бакунисты названы просто „федералистами", в противность мнимым „централистам", как будто бы автор верил этой не существующей, изобретенной бакунистами противоположности. Ниже будет показано, что этого на самом деле нет. Затем, мы должны заметить, что он из написанного по заказу фельетона такой продажной буржуазной газеты, как „Neue Freie Presse", выводит заключение, что **настоящим** революционерам не следовало бы разоблачать **показных** только революционеров, потому что эти взаимные обличения дают пищу злорадству буржуазии и правительств. Я думаю, „Neue Feire Presse" и вся эта писательская шайка могла бы накатать десять тысяч фельетонов, и все это не имело бы ни малейшего влияния на поведение немецкой рабочей партии. Всякая

фракционная борьба заключает в себе момев ы, когда приходится мириться с тем, что доставляет врагу удовол: зтвие, если не хочешь иначе причинить себе самому положительный вред. к счастию, мы ушли вперед настолько далеко, что можем пр пдоставит противнику такое удовольствие, если этою ценою можно и гнить действительные успехи.

Но главное обвинение заключается в том, что отчет полон частных фактов, которых достоверность не могла ‹ыть неоспоримою для авторов, так как они не могли быть собраны 1 наче, как по слухам. Откуда другу Петру известно, что такое обще‹ тво, как Интернационал, имеющее свои правильно функционирующие органы по всему цивилизованному свету, может собрать такого рода факты только по слухам, не сказано. Его утверждение, во всяком случае,в высшей степени легкомысленно. Факты, о которых идет ре ть, иоцтверждены подлинными документами, и лица, которых они касаются, поостереглись оспаривать их.

Но друг Петр держится того взгляда, что частные факты, как и частные письма, священны и не подлежат обнародованию в политических дебатах. Если безусловно примейять такой принцип, то этим будет поставлена под запрет всякая историография.Отношение Людовика ХУ' к Дюбари или Помпадур были частным фактом, но без него вся история кануна французской революции остается непонятной. Или, чтобы подойти ближе к современности: если какую-нибудь невинную Изабеллу выцают замуж за человека, который, по свидетельству сведущих людей (напр, ассесора Ульриха), не выносит женщин, и, поэтому, влюбляется исключительно в мужчин, если она при таком пренебрежении берет мужчин, где их найдет, то это все исключительно частное дело. Но если названная невинная Изабелла—-королева Испании, и один из молодых людей, которых она себе облюбовывает, юный офицер по имени Серрано; если этот Серрано. в награду за свои, чинимые в интимной обстановке, геройства, возводится в фельдмаршалы и министры-президенты, потом вытесняется и низвергается другим фаворитом, а затем, с помощью своих сотоварищей, выгоняет из страны неверную подругу и, наконец, после ряда всевозможных приключений, становится сам диктатором Испании и столь великим человеком, что Бисмарк прилагает все усилия, чтобы его признали великие державы,—то личная история Изабеллы и Серрано становится главою истории Испании, и если бы ктонибудь стал писать историю современной Испании и сознательно пожелал бы скрыть от своих читателей эту главу, он был бы фальсификатором истории. И если писать историю такой шайки, как Альянс, в которой, рядом с обманутыми, находится такая масса обманщиков, авантюристов, мошенников, полицейских шпионов, плутов и трусов,

то подобает-ли фальсифицировать эту историю, сознательно замалчивая отдельные мошенничества этих господ, как частные факты? Друг Петр может ужасаться, сколько хочет, но пусть он будет уверен, что мы еще далеко не покончили с этими „частными фактами". Материал все больше накопляется.

Если же, однако, „Вперед" изображает отчет, как произведение, состряпанное, главным образом, из частных фактов, то этим он совершает поступок, который с трудом поддается квалификации. Человек, который мог написать что-либо подобное, или совсем не читал инкриминируемой брошюры, или был слишком ограничен, или предубежден, чтобы понять ее; или же наконец, сознательно написал неправду. Всякий, прочитавший „Заговор против Интернационала", должен был убедиться, что вплетенные в него частные факты составляют самый несущественный элемент,—иллюстрации для более близкой характеристики упоминаемых в нем лиц, и что все их можно вычеркнуть без вреда для главной цели статьи. Организация тайного общества, с единодушною целью подчинить европейское рабочее движение скрытой диктатуре нескольких авантюристов, содеянные с этой целью, особенно Нечаевым в России, мерзости, — вот главное содержание книжки, и утверждать, что она трактует только о частных фактах, будет, мягко выражаясь, легкомысленно.

Конечно, для иного русского могло быть тягостно увидеть так внезапно, как беспощадно вскрыта была перед Западною Европой грязная (и очень грязная) сторона русского движения. Но кто в этом виноват? Кто другой, как не сами те русские, представители этого грязного элемента, которые, не довольствуясь тем, чтобы обманывать своих собственных земляков, отважились на попытку подчинить своим личным целям все европейское рабочее движение. Если бы Бакунин и иже с ним ограничились для своих подвигов Россией, вряд ли кто-либо в Западной Европе счел бы заслуживающим труда ополчиться специально на них. Об этом позаботились бы сами русские. Но если эти господа, не понимающие самых основ в условиях и ходе развития западно-европейского рабочего движения, хотят разыгрывать у нас диктаторов, тут уже не до шуток: их просто бьют по рукам.

Впрочем, русское движение может спокойно вынести подобного рода разоблачения. Страна, давшая двух писателей величины Добролюбова и Чернышевского, двух социалистических Лессингов, не погибнет еще от того, что породила вдруг такого шарлатана, как Бакунин, и несколько незрелых студентов, которые по-лягушачьи пыжатся громкими словами и, в конце-концов, друг друга пожрут. И среди молодого поколения русских мы знаем людей выдающихся теоретических и практических дарований и высокой энергии, людей, которые обогнали французов и англичан, благодаря своему знанию

языков, в интимном знакомстве с движением в различных странах, немцев — в практической умелости. Те русские, которые понимают рабочее движение и в нем участвуют, могут видеть лишь оказанную им услугу в том, что их освободили от солидарной ответственности за бакунистские мошенничества. Все это не мешает „Вперед“ закончить свой отчет словами: „Не знаем, как посмотрят на полученные результаты авторы брошюры. Большинство наших читателей, вероятно, разделит тяжелое чувство, с которым мы читали ее, и с которым, исполняя обязанность летописца, заносили печальные явления на наши страницы“.

Этим тяжелым чувством друга Петра заканчивается первая часть нашего рассказа. Вторая начинается со следующей фразы из того же выпуска „Вперед“.

„Обрадуем наших читателей и другою вестью того же рода. С нами в наших рядах находится и наш известный литератор Петр Никитич Ткачев; после четырех лет заключения, из места ссылки, где он был обречен на бездействие, ему удалось уйти и усилить собою наши ряды“.

Кто такой известный писатель Ткачев, мы узнаем из русской брошюры: „Задачи революционной пропаганды в России“, которую он сам выпустил в апреле 1874 года, и которая характеризует его, как зеленого, на редкость незрелого гимназиста, как „Митрофанушку“, так сказать, среди русской революционной молодежи. Он рассказывает нам, что его со всех сторон просили принять участие во „Вперед“; он знал, что редактор—реакционер; тем не менее он счел своим долгом взять „Вперед“ под свое покровительство, о чем, кстати сказать, тот совсем не просил. Только что приехав, он видит к своему изумлению, что редактор, друг Петр, присваивает себе право окончательного решения о приеме или браковке статей. Такой недемократический образ действия, разумеется, возмущает его, он сочиняет подробное послание, в котором требует для себя и для всех других сотрудников (которые этого, кстати вовсе не требовали), „во имя справедливости, на основании чисто теоретических соображений... равенства прав и обязанностей (с главным редактором!) во всем, что касается литературной и экономической стороны предприятия“.

Здесь сразу обнаруживается та незрелость, которая, хотя и не господствует в русском зарубежном движении, но, все же, более или менее, терпится. Русский ученый, пользующийся в своей стране громким именем, эмигрирует и добывает себе средства, чтобы основать за границей политический журнал. Не успел он это осуществить, как появляется, без приглашения, любой более или менее экзальтированный юноша и предлагает свое сотрудничество, под тем, более чем детским условием, что во всех литературных и денежных вопро-

сах он имеет одинаково решающий голос с основателем журнала. В Германии его бы просто высмеяли. Но русские не такой грубый народ. Друг Петр прилагает все усилия, чтобы убедить его, также „во имя справедливости и на основании чисто теоретических соображений“, в его неправоте и... тщетно конечно. Оскорбленный Ткачев, подобно Ахиллу, уходит в свою палатку и оттуда выпаливает свою брошюру против друга Петра, которого честит „философским филистером“.

С удручающим ворохом вечно повторяемых бакунистских фраз, о существе истинной революции, он обличает друга Петра в том преступлении, что он желает подготовить народ к революции, привести его к „ясному пониманию и сознанию его потребностей“. Но кто этого хочет, тот не революционер, а мирный постепеновец, т.-е. реакционер, друг „бескровных революций на немецкий вкус“. Истинный революционер „признает народ всегда готовым к революции“; кто этому не верит, тот не верит в народ, а вера в народ составляет нашу силу“. Для того, кого это не убедит, автор цитирует изречение Нечаева, этого „типического представителя нашей современной молодежи“. Друг Петр говорит, что мы должны ждать, пока народ будет готов к революции, „но мы не можем и не хотим ждать“, истинный революционер тем и отличается от философа-филистера, что он считает себя вправе во всякое время призывать народ к революции. И так далее.

У нас, на европейском Западе, всем этим ребячествам был бы положен конец таким ответом: если ваш народ во всякое время готов к революции, если вы во всякое время присваиваете себе право призывать его к революции и если вы положительно не можете ждать, чего же ради вы надоедаете нам своею болтовней, почему же, чорт возьми, вы не начинаете?

Но у наших русских так просто дело не делается. Друг Петр находит, что детские, скучные, вечно повторяющиеся рассуждения Ткачева могут возыметь на русскую молодежь такое же соблазнительное влияние, как на Тангейзера Венерина гора, и, как верный страж чистоты этой молодежи, он выпускает против них увещательное послание на шестидесяти страницах убористой печати. Здесь он изливает свои собственные взгляды на существо революции, исследует со всей серьезностью, готов ли народ к революции или нет, имеют ли революционеры право, и при каких условиях, призывать его к революции или нет, и еще подобные тонкости, которые в такой общей форме имеют приблизительно ту же цену, что исследование схоластиков о деве Марии. „Революция“ становится при этом сама своего рода девой Марией, теория-религией, деятельность в движении—

культом, и все действие происходит не на плоской земле, а на заоблачных высотах общих фраз.

Но при этом друг Петр впадает в трагическое противоречие с самим собою. Он, проповедник единства, противник всякой полемики, всяких „взаимно-обвинительных памфлетов“ внутри революционной партии, не может, конечно, выполнить своего долга стража молодежи, не вступая, точно также, в полемику, не может ответити на обличения своего противника, не обличая и его. С каким „тяжелым чувством“ проделывается это „печальное явление“, друг Петр сам скажет нам. Его статья начинается так:

„Из двух зол нужно выбрать меньшее“.

„Я знаю очень хорошо, что вся эта эмигрантская литература взаимно обличающих брошюр, полемики о том, кто истинный друг народа и кто нет, кто искренен, и кто неискренен и кто именно истинный представитель русской молодежи, истинной революционной партии,—что вся эта литература о личном мусоре русской эмиграции так же противна читателям, как и лишена значения для революционной борьбы, что она может только доставлять радость нашим врагам,—я это знаю и, все-таки нахожу, что мне необходимо написать эти строки, необходимо собственной рукою умножить массу этих жалких писаний еще одним, читателям на скуку, врагам на утешение,— необходимо, ибо из двух зол следует выбирать меньшее“.

Отлично. Но как же происходит, что друг Петр, который развивает во „Вперед“ столько истинно-христианской терпимости и от нас требует для разоблаченных нами шарлатанов,—шарлатанов, которых, как будет видно, он так же хорошо знает, как и мы,—что по отношению к авторам отчета он не сохранил и той малой доли терпимости, чтобы спросить себя, не пришлось ли и им—из двух зол выбрать меньшее? Что ему самому пришлось попасть под огонь, чтобы уразуметь, что могут случиться и еще большие беды, чем немножко острой полемики против людей, которые под личиною якобы революционной деятельности стремились фальсифицировать и уничтожить все европейское рабочее движение?

Будем, однако, снисходительны к другу Петру,—судьба обошлась с ним довольно сурово. Не успел он с полным сознанием вины сделать то, что нам ставят в укор, как Немезида гонит его дальше и заставляет дать г. Карлу Талеру новый материал для его фельетона в „Neue Freie Presse“.

„Закончила ли ваша агитация свою работу?— вопрошает он всегда готового к действию Ткачева.—Готова-ли, может быть, ваша организация? Готова? Действительно готова? И не имеем-ли мы тут дело с тем пресловутым тайным комитетом „типичных“ революционеров, комитетом, состоящим из двух человек и рассылающим во все

стороны декреты? Нашей молодежи так много врали, так часто ее дурачили, так позорно злоупотребляли ее доверием, что она не поверит сразу, что революционная организация уже готова".

Русский читатель не нуждается, конечно, в пояснении, что эти „два человека" зовутся Бакунин и Нечаев. Далее.

„Но есть люди, которые выдают себя за друзей народа, за приверженцев социальной революции и одновременно вносят в свою деятельность ту лживость и неискренность, которые я охарактеризовал выше, как отрыжку старого общества... Эти люди использовали озлобление приверженцев нового общественного порядка против несправедливости старого общества и выставили принцип: в борьбе все средства хороши. К этим хорошим средствам они относили обман своих сотрудников, обман по отношению к народу, которому они ведь, якобы, служили. Они готовы были обмануть всех и каждого, лишь бы организовать достаточно сильную партию, как будто возможно было бы создать сильную социально-революционную партию без искренней солидарности ее членов! Они были готовы раздувать в народе старые страсти разбоя и раздолья без труда. Они были готовы эксплоатировать своих друзей и товарищей, чтобы сделать их орудием своих планов, они были готовы защищать на словах полнейшую независимость и автономию лиц и секций, организуя в то же самое время самую решительную тайную диктатуру и осуждая своих приверженцев на самое скотоподобное и самое бессмысленное послушание, как будто бы социальная революция может быть совершена союзом эксплоататоров и эксплоатируемых, группою людей, поступки которых на каждом шагу опровергают все то, что проповедуют их уста".

Невероятно, но верно: эти строки, которые подобны выдержке из „Заговора против Интернационала", как два яйца, написанные тем же человеком, который немногими месяцами ранее изображал эту брошюру, по поводу ее вполне совпадающих с вышеприведенными строками нападков на тех же людей, как преступление против общего дела. Итак, мы можем быть довольны.

Если мы вернемся теперь к г. Ткачеву, с его большими претензиями и абсолютно ничтожными делами, и к маленькому несчастью, постигшему при этой оказии нашего друга Петра, то наступит наша очередь сказать:

„Не знаем, как посмотрят на полученные результаты авторы брошюры. Большинство наших читателей, вероятно, разделит „веселое" чувство, с которым мы читали ее, и с которым, исполняя обязанность летописца, заносим эти „своеобразные" явления на наши страницы".

Однако, шутки в сторону. Масса странных явлений в прежнем

русском движении об'ясняется тем, что долгое время всякое руское сочинение было для Запада книгою за семью печатями, и что, поэтому, Бакунину и его сподвижникам было легко скрывать от Запада свои дела, давно известные русским. С усердием они распространяли принцип, что следует утаить от Запада грязные стороны русского движения в интересах самого движения; кто раскрывает Европе глаза на темные элементы русского движения, тот предатель. Этому теперь наступил конец. Знакомство с русским языком, который всемерно заслуживает изучения и сам по себе, как один из самых сильных и богатых живых языков, и по развернутой им литературе, теперь уже больше не такая редкость, по крайней мере среди немецких социал-демократов. Русские должны будут подчиниться неизбежной международной судьбе, что отныне их движение происходят на глазах и под контролем остальной Европы. Никому не пришлось так тяжело искупить прежнюю замкнутость, как им самим. Если бы не эта замкнутость, их не было бы возможно больше года так позорно дурачить, как это делали Бакунин с присными. И никто не извлечет большей пользы из критики, идущей с Запада, из международного взаимного влияния различных западно-европейских движений на русское и обратно, из осуществляющегося, наконец, слияния русского движения с общеевропейским, как сами русские революционеры

* * * * * *

Речь Г. В. Плеханова на Международном Рабочем Социалистическом Конгрессе в Париже (14—21 июля 1889 г.[1])

Вам может быть странно видеть на этом рабочем конгрессе представителей России—России, где рабочее движение до сих пор, к сожалению, слишком слабо. Но мы думаем, что революционная Россия во всяком случае не только не должна держаться в стороне от новейшего социалистического движения Европы, но что наоборот, теперешнее сближение ее с ним принесет большую пользу делу всемирного пролетариата.

Вам всем знакома роль русского абсолютизма в истории западной Европы. Русские цари были коронованными жандармами, считавшими своей священной обязанностью защищать и поддерживать европейскую реакцию от Пруссии до Италии и Испании. Было бы напрасной тратой слов говорить здесь о той роли, которую, например, Николай играл в 1848 и 1849 гг.; ясно как день, что падение рус-

---

1) „Парижский Международный Социалистический Конгресс—первый конгресс второго Интернационала. После раскола и распадения Первого Интернационала впервые удалось собраться представителям 21 страны (395 делегатов) для обсуждения насущных вопросов международного рабочего движения. Россия была представлена шестью делегатами, из которых четверо предстовители „интеллигентные кружки (в их числе П. Л. Лавров и Г. В. Плеханов) а двое—русские рабочие группы в Америке и Лондоне. Конгресс заседал от 14 по 20 июля. При чем первые дни были посвящены докладам представителей отдельных стран „о по положении рабочего класса и о степени развития социалистического движения" в каждой стране. От России выступили П. Лавров и Г. Плеханов.

Речь Плеханова многих поразила своей смелой откровенностью и трезвым учетом реальной ситуации в России. До того русские революционеры на интернациональных конгрессах и в печатных выступлениях уверяли представителей международного пролетариата, что Россия накануне революции, что элементы социализма в русском народе уже сейчас существуют и т. д. Впервые Г. В. Плеханов смело произнес слова—понятные западно-европейским марксистам При всем том многим мысль о торжестве революционного движения в России как революционного движения рабочих казалось чрезвычайно смелым. Однако эта мысль Плеханова для него была не новой. Уже в брошюре „Социализм и политическая борьба" (1883 г.) и в „наших разногласиях" совершенно явственно преводилась такая же мысль, хотя и формулированная менее отчетливо.

ского абсолютизма равносильно торжеству международного революционного движения во всей Европе. Спрашивается только, при каких условиях революционное движение в России может одержать победу над русским абсолютизмом.

Некоторые писатели, фантазия которых значительно превышает социально-экономические сведения, рисуют Россию страной вроде Китая, которая по своей экономической структуре ничего не имеет общего с Западом. Это совершенно ложно. Старые хозяйственные основы России находятся в процессе полного разложения. Наша сельская сбшина, столь любезнаянекогда даже, некоторым социалистам,`.'а`на` деле-составлявшая главнУЮ опору-нашего абсолютизма, Все более и более`делается в руках сельской буржуазии орудием для эксплоатации` большинства земледельческого. населения, Беднейшая часть крестьянства вынуждена переселяться в города и ,промышленныецентры, а одновременно с этим крупная фабричная промышленность`_ растет, поглощая процветавшую некогда кустарную промышленнбсть в'деревнях. Побуждаемое'нуждой в деньгах, наше самодержавное'ПравИтельстзо всеми сплами'содействует "этому процессу развития'капи'тализма в России. Нам, социалистам; эта "сторона его деятелЬНости может доставить только удов0льствие, ,потому что этим путем сно само копает себе яму. Пролетариат, образуюшнйся вследствнв разложення Сельской общины, нанесет смертельный удар саmoде'ржавиюг Если он`огне смотряна героические'усилИя русских революционеров, до сих'пор не но`бежденфв`России, то это Об`ясняется иЗолированнобтью революционеров от народной массы. Силы и самоотвержение наигих революционных идеологов мегут быть достаточны для'ю'орьбы' против царе'й,'как личностей, но их'слиШко'м-мадлодл'я'победкы над царизмом, как политически! системой. Задача нашей революциоНной интеллигенции сводится, поэтомугпо мнению русских социал-демократов, к следующему: она должна усвоить взгляды современного научного социализма, распространить их в рабочей среде и с помощью рабочих приступом взять твердыню самодержавия. Революционное движение в России может восторжествовать только как революционное движение рабочих. Другого выхода у нас нет и быть не может.

*****



Г. В. ПЛЕХАНОВ.
(Род. 26 ноября 1856 г. — ум. 31 мая 1918 г.)

Г. В. Плеханов.

Военный вопрос на конгрессе в Цюрихе [1]).

В редакцию журнала „L'Ere nouvelle".

Вы попросили меня послать вам те несколько слов, которые я произнес в Цюрихском конгрессе по вопросу о милитаризме. Я вам посылаю их в надежде, что они встретят у ваших читателей более благосклонный прием, чем тот, который им был оказан большинством французских делегатов.

Как докладчик комиссии, я защищал так называемую немецкую позицию. Вы, без сомнения, имеете ее текст, так что я не привожу его здесь [2]). Я сказал, что предложение голландцев—военная забастовка во время войны—является ни чем иным, как утопией. В самом деле, для того, чтобы осуществить это предложение, нужна сила, большая сила, нужно, чтобы армии слушались голоса социалистической демократии. Однако, когда мы будем иметь эту силу, нам не нужно будет складывать оружия: нашим долгом будет найти для оружия другое применение, характер которого очень легко предвидеть. Пока мы не сильны до такой степени, пока армия не с нами, всякая революция в духе предложения голландцев остается пустой фразой, лишенной всякого практического смысла.

Больше того, успехи социализма не везде одинаковы. Так, в

---

1) Цюрихский (III) конгресс собрался 1893 г. 6—12 августа. Россию представлял Г. В. Плеханов. В комиссии по вопросу о борьбе с милитаризмом он резко столкнулся с Домело Ньювенгуйс (Nieuwenhuis).

Ньювенгуйс голландский социалист,—ставший впоследствии анархистом. Пастор лютеранской церкви в Гааге. Уже после Парижского конгресса 1889 г. он нападал на В. Либкнехта, обвиняя его в „умеренности" и „опортунизме". В Брюссельском конгрессе (16—23 августа 1891 г.) в комиссии по вопросу о борьбе с милитаризмом он резко столкнулся с Либкнехтом и Вальяном. В выдвинутой против них резолюции Ньювенгуйс советует „социалистам всех стран" ответить на объявление войны где бы то ни было призывом народа ко всеобщей забастовке". На пленарном заседании по этому вопросу прения были очень бурные. Ньювенгуйса поддерживали большинство делегатов Франции, Англии, Голландии. Подавляющим большинством голосов делегатов остальных стран была принята резолюция Либкнехта—Вальяна. На Цюрихском конгрессе повторилось то же самое с той лишь разницей, что вместо В. Либкнехта против Ньювенгуйса в комиссии и на пленуме оказался Г. В. Плеханов.

2) Вот текст, о котором идет речь:

„Позиция рабочих в случае войны окончательно определена резолюцией Брюссельского конгресса относительно милитаризма. Международная, революционная, социалистическая демократия всех стран должна восстать всеми находящимися в ее власти силами против шовинистических аппетитов господствующих классов; она должна все теснее соединять узами солидарности рабочих всех стран; она должна неослабно работать над сокрушением капитализма, который разделил человечество на два враждебных лагеря и который натравливает народы друг на друга. Вместе с уничтожением господства классов, исчезнет война. Падение капитализма означает мир во всем мире".

Германии мы имеем уже очень сильную и превосходно организован. ную партию. В РоСсии мы присутствуем только при первых шагах социалистического движения. Предположим, `что в случае войны между Россией и Германией наши немецкие товарищи сумеют организовать военную забастовку,——тогда русская армия покорит центральную Европу, и вместо торжества социализма мы увидим торжество казацкой нагайки. Вот почему голландское предложение является не просто утопией, а реакционной утопией, осуществление которой был› бы очень вредно для дела свободы. Дело идет не о том, чтобы проповедывать крестовый поход против Северного деспота. Кровь пролетариата слишком дорога, чтобы вам пришла в голову подобная идея; кроме того, рабочие Западной Европы имеют и без того много дела у себя дома. Но пусть русское правительство держит себя спокойно,—социалисты будут первыми борцами против всяких воинственных тенденций. И если это ненавистное правительство не будет держаться смирно, если оно попробует наложить свою тяжелую лапу на соседние народы, тогда всякое воздержание будет преступным, тогда нужна будет война, смертельная война, война без отдыха и пощады! И эта война против нашего правительства будет в то же время войной за освобождение нашего народа.

Вот вкратце то, что я сказал в своей первой речи против голландского предложения. Гр. Домела в своем ответе сравнил меня с Бисмарком, который тоже постоянно восклицал: „вот идут казаки!" Голландский делегат придерживался того мнения, что русский деспотизм не может иметь ничего страшного для немцев, которые сами не пользуются большой политической свободой: немного меньше, немного больше деспотизма, сказал он, это, собственно говоря, одно и то же, как утверждал ГейнеЪНашествие варваров не всегда является несчастием для цивилизованных народов; наоборот, нашествия иногда приносили значительную пользу делу развития человечества. Общее правило—одно нашествие стоит другого; французам достаточно только вспомнить бедствия войны 70-71 гг. Немецкие социалисты ничего не сделали, чтобы побороть у себя милитаризм; они сами не свободны от шовинистических настроений, как это доказывает хорошо известная речь Вебеля против России.

Как вы знаете, после речи гр. Домела завязался долгий спор. Каждая нация высказывалась в лице одного из своих делегатов; и когда я, как докладчик, получил слово, чтобы резюмировать прения, стало очевидным, что предложение голландцев будет отвергнуто подавляющим большинством. Излишне было защищать уже выигранное дело, и я, поэтому, ограничился некоторыми замечаниями второстепенного порядка.

Я сказал, что неправильно считать предложение большинства

Комиссии предложением немцев. На Брюссельском конгрессе оно защищалось французом Вальяном так же, как и немцем Либкнехтом. Даже на Цюрихском конгрессе, меньшинство французской делегации, имеющее в своей среде Боннье, делегата рабочей партии, Жаклара и некоторых других, также высказалось за него. Точнее, потому, назвать это предложение—франко-немецким. (Протесты и крики со стороны французов и голландцев). Я рад, что могу отметить это согласие между немецкими социалистами и частью французских социалистов, так как оно доказывает еще раз, что не шовинизм воодушевляет тех, кто защищает наше предложение. Все, что было сказано против него, настолько нелогично и так мало понятно, что я одно время спрашивал себя, не начинал-ли наш главный противник, гр. Домела, говорить на языке „волапюк", употребление которого он рекомендовал пролетариям. (Шум со стороны голландцев, минута смятения). В самом деле, что можно сказать о той части речи, где он старался нас успокоить относительно последствий нашествия варваров. Что ответить гражданину Домела, говорившему нам, что немецкий строй почти ничем не отличается от русского. Спросите присутствующих здесь венгерцев: они с 1849 г. хорошо узнали, что такое русский „порядок"; обратитесь к польским делегатам: они расскажут вам на этот счет много назидательного. Что можно, вообще говоря, сказать об этой странной идее? Доказать, что одно нашествие стоит другого? Разве дело идет о том, чтобы выбрать из двух нашествий то, последствия которого будут менее печальными? Разве это дело конгресса? В этом ли заключается вопрос, стоящий в порядке дня? Большинство Комиссии совершенно просто сказало, и это ясно, как день, что если социалисты Германии и Франции исполнят свой долг, война между этими двумя странами сделается невозможной, и тогда постоянной угрозой для европейского мира останется один только русский царизм. Гр. Домела в длинной тираде распространялся против шовинистических настроений. Вы правы, милостивый государь, эти настроения сейчас неуместны, и позор тому, кто явится на социалистический конгресс с злопамятством и национальной завистью. Но кто же питает эти чувства, сто крат достойные осуждения? Вы ставите в упрек Бебелю его речь против России. Если бы он нападал на русский народ, он был бы шовинистом, и я, защищая его мнение, был бы предателем своей родины (Французы кричат: Вы им и являетесь! Да здравствует анархия!) Но дело обстоит не так, как вы это себе представляете. Бебель нападал на официальную Россию, на властителя Севера, голодом морящего свой народ, на поставщика виселиц; и не нам упрекать Бебеля за эти нападки.

В нашей несчастной стране интересы нации диаметрально про-

тивоположны интересам правительства. Все, что делается на пользу последнего, является ущербом для нации, и, наоборот, все, что подкапывает правительство, выгодно народу. Вот почему мы можем быть только благодарны Бебелю за то, что он еще раз разоблачил вампира всея Руси. Браво, друг, вы хорошо сделали, не теряйте случая сделать это еще раз, обличайте наше правительство как можно чаще, поставьте его к позорному столбу, бейте сильней... Таким образом вы окажете нам большую услугу.

Что касается нашего народа,—наши немецкие друзья хотят свободы для него, и, быть может, придет время, когда немецкие социалистические батальоны будут бороться за нашу свободу, как некогда армии французского Национального Конвента боролись за свободу народов того времени...

Будем ли мы сетовать на Бебеля за то, что в своей речи, которую Домела вменяет ему в преступление, он выразил симпатию к благородной и несчастной польской нации? Что касается нас, русских революционеров, мы не предадим Польши, как это сделала французская буржуазия, которая когда-то кричала: „Да здравствует Польша, милостивый государь“ [1]), и которая после этого пошла приносить свои извинения г. Моренгейму [2]).

Вот здесь-то большинство французской делегации подняло такой сильный шум, что я лишен был возможности продолжать свою речь. Слышались возгласы: „Да здравствует анархия“. Эти граждане как будто бы забыли, что анархия и царизм—две совершенно разные вещи... Впрочем, время мое уже истекло, и мне оставалось немногое прибавить к тому, что я уже сказал. Так как гр. Домела цитировал Гейне, я намеревался привести по поводу его речи следующие стихи того же автора:

„Я знаю мотив этой песни и текст
И авторов знаю отлично:
Тайком они пили вино, а в речах
Водой угощали публично“.

(„Германия“, перев. В. Водовозова).

Гр. Домела кончил свою речь, сказав, что если будет принято предложение голландцев, то государи задрожат на своих тронах. В заключение я мог бы сказать, что если мы дадим такое доказательство своего легкомыслия, государи ехидно усмехнутся; особенно стал бы радоваться великий петербургский Могол, убедившись в том, что пролетариат не представляет собой серьезной партии, а является ребенком, которого можно забавлять дешевыми игрушками.

---

[1]) Слова Г. Флоке, которые он крикнул при проезде Александра II в Париже несколько лет спустя после польского восстания 1863 г. Прим. перев.

[2]) Г. Моренгейм—русский посол в Париже при Александре III. Прим. перев.

Вот все, что я сказал и что хотел сказать. Буржуазные газеты взапуски клевещут на меня. Даже некоторые социалистические органы заявляют, что я оскорбил гр. Домела (см. Le Peuple, Бельгия). Позволю себе надеяться, что вы отнесетесь более справедливо ко мне.

Преданный Вам *Г. Плеханов.*

Примечание: Мы жалеем, что наиболее видные представители французского пролетариата, как Вальян и Гэд, не были на Цюрихском конгрессе. Их присутствие остановило бы некоторые возгласы членов французской делегации и обуздало бы тех, кто недостойно держал себя. Редакция.

Перевод А. Ч.

* * * * * *

Der Sozialdemokrat 1883, 3 Mai № 19.

Приветствие с'езду немецкой социал-демократии в Копенгагене.[1]

Дорогие товарищи,

Несколько русских социалистов, живущих в Женеве и Цюрихе, уполномочили нас выразить немецкой социал-демократии, в лице делегатов конгресса, живейшие симпатии и в то же время искреннейшие пожелания, чтобы конгресс достиг в своей работе для общего дела пролетариата самых благотворных результатов. Мы и наши братья пользуемся этим случаем, чтобы выразить нашу глубокую скорбь по поводу смерти Карла Маркса, великого учителя и наставника всемирного пролетариата. Мы целиком присоединяемся к словам глубокого уважения и почтения, которые товарищ наш Петр Лаврович Лавров сказал у могилы великого усопшего. И мы твердо убеждены, что преждевременная смерть духовного вождя международного пролетариата для русского социально-революционного движения представляет такую же незаменимую потерю, как и для рабочего движения более передовых стран. Мы позволяем себе, поэтому, выразить желание, чтобы конгресс немецкой социал-демократической партии взял на себя инициативу международного сбора для сооружения памятника, который был бы достоин великого пионера современного социализма и свидетельствовал бы об уважении к нему социалистов всех стран, а также создания фонда для народного издания всех сочинений Маркса.

---

[1]) Конгресс собрался в Копенгагене в самый разгар закона против социалистов — в 1883 г. и заседал от 29 марта по 2 апреля. Подробно об этом конгрессе и его решениях см. Ф. Меринг ист. Герм. Соц.-Дем. Т. IV стр. 227—236 (изд. Гранат). 1907 г.

В заключение просим вас принять уверения, что мы с напряженнейшим вниманием следим за борьбой немецкой социал-демократии и с радостью приветствуем всякий шаг вперед в ее международном влиянии и всякий успех ее внутри самой Германии.

Да здравствует социал-демократия Германии и всех стран.

Г. Плеханов.
П. Аксельрод.
Вера Засулич.

* * * * * *

Письма Г. В. Плеханова сестрам:

Клавдии Валентиновне Плехановой и Варваре Валентиновне Поздняковой.

I

13 авг. (Н. С.) 1906 г.

Моя дорогая и добрая Варя, ты напрасно думаешь, что я за что-нибудь дуюсь на тебя и потому молчу. Нет, меня заставляет молчать то самое чувство, которое тебе уже известно: я не знаю, ты ли прочтешь это мое письмо, или прежде тебя какой-нибудь посторонний, некстати любопытный человек. А твоим письмам я страшно рад и чрезвычайно благодарен тебе за то, что ты меня не забываешь. Великое спасибо за фотографии—твою и нашей покойной матери. Свою я вышлю тебе на днях.

Скоро-ли увидимся, я не знаю. Здоровье мое сейчас не то что плохо, а с л а б о. Живя в гигиенических условиях, я держусь и хорошо работаю, а как только попадаю в условия сколько-нибудь плохия, то сейчас же заболеваю. Вот почему я и не еду в Россию. Там очень много шансов попасть в условия весьма не гигиеничные. А хотелось бы мне поскорее попасть на родину, повидать тебя и всех тех родных, которые еще помнят меня. Где Гриша? Неужели он до сих пор на службе? Что он теперь собою представляет? Каковы его взгляды? Пиши мне обо всем подробнее. Я всегда страшно радуюсь твоим письмам. Ты писала мне, что читаешь теперь мои сочинения. Что ты скажешь о них? Что думает о них Н. Н.? Вас должен смущать мой материализм. Читала-ли ты мою книгу „Критика наших критиков“? Еще раз, пиши подробнее. Жена и дети всем Вам кланяются. Искренний привет от меня всем твоим.

Твой брат.

P. S. Ты писала о деньгах. Если ты теперь не стеснена, то пришли на имя моей жены через (з а ч е р к н у т о). А если стеснена, вышли пока половину. Целую тебя.

P. P. S. [illegible]

II

Вторник [1]).

Милая Варюшка, ты считаешь меня за антихриста, поэтому ты мнѣ не повѣришь, а я очень соскучился по тебе и по Николаю Николаевичу. Приезжайте непременно 13-го июля: мы Вас устроим. Здоровье мое плоховато: какая-то усталость. Ну, да ничего. Приезжайте же. Поклон всем ото всех.

Твой Ж.

III

Сан-Ремо 18 декабря (нов. стиля) 1909 г.

Дорогая Клавдия,

Я понять не могу, каким образом письмо твое из Липецка от 28 сентября (!) дошло до меня только теперь. Может быть, это произошло оттого, что ему пришлось ехать за мной из Швейцарии в Италию. Но на этот переезд нужно не более суток. Как бы там ни было, это первое письмо, полученное мною от тебя: писем, о которых ты говоришь, я не получил. Теперь очень рад завести сношения с тобою, хотя и боюсь, что письмо это уже не застанет тебя в Липецке.

Ты спрашиваешь у меня совета на счет твоего собственного устройства. Откровенно тебе скажу, что мне трудно дать такой совет. Ведь я знал тебя маленькой девочкой, а теперь ты давно уже взрослая дама! Посоветовать тебе что-нибудь, это все равно, что сшить платье на человека, с которого нельзя снять мерку и который, к тому же, неизвестен тебе ни со стороны роста, ни со стороны дородства. Я был бы рад увидеться с тобой. Когда я тебя узнаю, я, разумеется, не останусь равнодушным к твоим планам. Если средства позволяют тебе, то приезжай за границу. Это будет во всяком случае только полезно для тебя. Секретаря у меня нет и я вообще обхожусь без помощи секретаря. Но поговорить есть о чем и помимо секретарства. Поверь, что я буду очень рад повидаться с тобой. Именно потому, что я отрезанный ломоть, я очень дорожу памятью обо мне моих родных.—Здесь теперь гостит Варя с Ник. Николаевичем. Их приезд воскресил в моей душе много дорогих для меня воспоминаний. Хотелось бы мне посмотреть и на тебя. Напиши поскорее, что ты обо всем этом думаешь.

Что касается хозяйственных вопросов, которые ты ставишь в твоем письме, то я, разумеется, держусь того мнения, что нужно сделать решительно все возможное для того, чтобы не теснить крестьян. И чем более ты сделаешь в этом направлении, тем будет лучше. Чтобы не забыть: непременно пришли мне твою карточку и

---

[1]) Год не указан. вероятно 1909 г.

напиши мне о своем муже. Деньги высылай сюда чеком на банк, СагйЬаШйе Сотр. Зап Вето, Согео 1трегаЬт1се. Мне писать (всегда заказным письмом: почта здесь очень неисправна)
надо так: Бйнпог С. Р1е1<11аиой, "На УШогЕа (Вилла Витторня) М 2, Папа, Зап Вето, ВМета (11 РопеШе, Италия. Не забудь же прислать мне фотографическую карточку и напиши побольше о себе. Я помню тебя лишь ребенком, но воспоминания детства мне очень дороги, и я тебя люблю но этим воспоминаниям. Крепко тебя цещю.
Твой [Т Плеханов.
Получив твою карточку, я пришлю тебе свою. Пиши же поскорее. Г. П.
1?
Сан- Ремо, 4 февраля (нового стиля) 1910 г.
Дорогая Клавдия,
Свой ответ я начну с географии. Сан-Ремо не Рим, а небольшой городок на берегу Средиземного моря, недалеко от французской границы и от весьма известного города Ниццы, лежащего уже в пределах Франции, в 2 часах езды отсюда. Раз заговорив об этом, прибавлю, чтобы покончить с практическими вопросами, следующее.
1) Деньги можно перевести через государственный банк на отделение Лионского кредита в Ницце. Взявши чек на Лионский кредит в Ницце, нужно переслать этот чек мне, а я перешлю его в НИЦЦ} и получу деньги. Итак, не ошибись: деньги нужно пере‹ дать банку, за перевод на Лионский" кредит в Ницце, но чек надо положить в конверт и адресовать так: 5131101" С. Р1е1<папощ уШа Уйъотта М 2, Зап Вето, Нйутета (11 РопеиЬе, Папе. Извести меня, кроме того, картой (заказной) о посылке чека.
Во-вторых. Руководств для элементарного изучения иностранных языков я не знаю. Их легче найти в России. Существует довольно много таких изданий под разными названиями: „Русский за границей", „Русский в Германии" и т.д. Ехать сюда надо на Вар. шаву, Вену, Венецию, Милан и Геную. Но дело в том, что тебе лучше отложить поездку до лета, когда мы будем в Швейцарии. Туда и поездка дешевле, на и переезжать не придется с нами из Италии в Женеву, что составило бы двойной расход. Лучше будет выехать в конце мая. Шестисот рублей, конечно, достаточно для поездки за границу и 2-месячного там пребывания.
Твое письмо (последнее) произвело на меня очень тяжелое впечатление. Оно мне показало и напомнило, что все Вы, т.е. и Варя, и ты, и без вести пропавшая Саша,— были очень несчастные. Отчего это так вышло? Обо мне ты напрасно говоришь, что я- много страдал. Мне пришлось и приходится много бороться. Но несчастливым

я себя никогда не чувствовал. И мне досадно, что Ваша жизнь сложилась иначе. Если бы Вы пошли по моей дороге, то Вы были бы несравненно счастливее. Ну, да этого уж не изменишь. Если тебе теперь тяжело, милая Клавдия, то я одно могу тебе посоветовать: учись, читай. Если тебя заинтересует серьезное чтение, то ты сразу станешь счастливой. Еще Чернышевский прекрасно писал „так много наслаждений у развитого человека!“ Поверь, что это не фраза. Что же именно читать? Да все тех же просветителей: Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева, а потом возьмешься и за нас, марксистов. Но это именно потом: мы трудней.

Всякие мысли о самоубийстве, разумеется, вздор и непростительная слабость. Надо жить и действовать, а не умирать для того, чтобы тлеть в могиле. Для этого еще придет время. Книги названных выше авторов ты найдешь в Липецке. Там была библиотека на минеральных водах. Крепко целую тебя, дорогая сестренка, и еще раз говорю: учись, читай, это единственное спасение.

Твой Жорж.

* * * * * *

Секретный циркуляр департамента полиции об аресте Г. В. Плеханова.

М. В. Д.
ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ.

По Особому Отделу.

4 марта 1912 года.
№ 97920.
По 3-му Отделению.

Копия.
Секретно
Циркулярно.

Начальникам Губернских Жандармских Управлений, Охранных Отделений и Жандармским офицерам на пограничных пунктах.

В дополнение к циркуляру от 16 Октября 1906 года за № 19309, Департамент Полиции просит Вас, в случае обнаружения во вверенном Вашему наблюдению районе дворянина Георгия Валентиновича Плеханова, принадлежащего к Российской социал-демократической рабочей партии, обыскать и арестовать названное лицо, возбудить о нем переписку в порядке Положения об охране, уведомив Департамент.

Современные приметы Плеханова: лет 55-ти, роста среднего, худой, волосы на голове совершенно черные с легкой проседью, довольно редкие, мягкие, длинные, зачесанные назад; глаза большие карие, пронзительные; нос прямой; лоб очень большой, высокий, брови очень большие, нависшие; усы большие, густые, черные с легкой проседью; борода небольшая, на подбородке остроконечная, черная с легкой проседью.

В общем у Плеханова наружность чрезвычайно представительная, выделяющаяся из общей массы. При походке он слегка горбится.

Подписал: Исп. об. Вице-Директора *С. Виссарионов.*
Скрепил: Заведующий Особым Отделом, Полковник *Еремин.*
Верно: Помощник Делопроизводителя (Подпись).

Г. В. Плеханов в изображении польского беллетриста.

Русское революционное движение, в отдельные периоды грозное и бурное, не могло не найти отклика и отражения в художественной литературе пораженного этим движением Запада. В частности, польская литература, начиная с Оржешко и до последних дней—до пасквиля на большевиков, составленного Серошевским, весьма часто затрагивает эту тему. Затронул ее и выдающийся писатель Станислав Бржозовский, серьезно заподозренный одно время в провокации. Само собой разумеется, что как в его публицистических, так и в художественных произведениях нет даже намека на какое-бы то ни было отношение Бржозовского к охранке. Наоборот, все русское революционное движение, начиная с Нечаева до упадка „Народной Воли", вызывает в авторе чувство почтительного удивления.

Перед читателем проходит целая галлерея русских революционеров... Нечаев, Соловьев, Халтурин, Желябов, Александр Михайлов... Среди них совершенно обособленное место занимает Плеханов, представленный под фамилией Кирсанова. Произведение Брисозовского написано лет 14 тому назад. В нем он мертвых называет полной фамилией, живших еще в то время—под вымышленной, но для знакомых с течениями в русском революционном движении—вполне прозрачной.

Еще несколько слов. Автор преклоняется перед Соловьевым, А. Михайловым, Желябовым. Это одно уже само по себе предрешает менее восторженное его отношение к Плеханову. Но, несмотря на это, основоположник русского марксизма хотя, быть может, представлен более сухим и черствым, но изображен верно.

С Кирсановым знакомит нас автор в момент, когда Соловьев принял решение убить Александра II. Кружок лиц, в состав которого входили и Ал. Михайлов и Гольденберг, позднейший предатель, затронул актуальный, для того времени, вопрос о роли личности в истории. Гольденберг высказал мнение, по которому реакционным является

все то, что заставляет считаться с реальными условиями, не зависящими от воли человека.

„Кирсанов широко открыл рот от удивления, когда Гольденберг заявил, что принцип сохранения энергии может быть только подвохом со стороны реакционеров, так как единственно прогрессивным является принцип преодоления энергии волей. Кирсанов не мог прямо понять человека, который использовывал термины и понятия, обычные в нашем кругу, и в то-же время жил вне какой-бы то ни было научной традиции“...

В этих вопросах Кирсанов был безжалостен.

— Вот до чего доводит Михайловщина! Вот чем мы обгоняем Европу...

— Что-же?—издевался он над Гольденбергом—астрономию оставим на прежних основаниях или же ее тоже введем в круг суб'ективного антропоцентризма? Интересная штука получится. Я, напр., принялся за изучение геологии. И, право, не знаю: стоит-ли...

Каневский, вымышленная личность, от имени которого ведет Брисозовский свое повествование, пытаясь защитить Гольденберга, сводит разговор на революционный консерватизм, тормозящий движение, причем среди верхов социалистеческого движения во Франции, в Италии, в Германии встречаются примеры такого невежества и настолько поверхностные, что по сравнению с ними совсем бледнеет борящийся с законами природы Гольденберг, но Гольденбергу чуждо то сытое довольство, каким отличаются рантье европейского социализма.—Каневский приводил эти примеры, парируя иронию Кирсанова по поводу Михайловского и в особености Бакунина, которого Кирсанов считал просто невежественным.

— Знаешь,—возражает Кирсанов,—почему мельчают в наших глазах, а может быть и действительно, представители нового поколения европейских революционеров? Потому что и об'ективно они имеют все менее и менее значения, потому что все более и более безразлично, кто они индивидуально. Личность их сходит на второй план. Они являются только органами роста сознания и инициативы масс. Массы растут и заслоняют собою вожаков...

Тогдашнему поколению все, что говорил Кирсанов, казалось странным, непонятным. Это особенно четко проявилось, когда кружок собрался для обсуждения вопроса о затеянном Соловьевым покушении на Александра II. Этим покушением, в изображении автора, Соловьев стремился доказать, что человеческая совесть не может мириться с существованием царизма.

— Что-то новое,—возразил Кирсанов,—мы, русские, всегда обучаем Европу.

— Кромвелль,— лаконически перебил его Соловьев,—Орсини... Нельзя переносить рабства.

—А вслед за этим... Конституция, хартия свобод и свободное развитие российских Разуваевых...

Соловьев с беспокойством глядел на Кирсанова, к которому был искренне привязан.

Дискуссия, страстная, горячая, не могла привести ни к каким результатам. Соловьев, Михайлов с одной стороны, Плеханов и Зейдеман (повидимому Зунделевич) с другой, были олицетворением двух совершенно различных мирооозерцаний. Кирсанов говорит о законах социальной жизни, о сущности социального процесса, который сам создает и воспитывает силы, необходимые для осуществления данной задачи...

Соловьев заявил, что перестанет уважать себя, если не исполнит того, что он решил.

— Это твое дело.

— Нет! Я не оправдываю лжи, я не могу быть иезуитом развития, лгать перед самим собою во имя законов эволюции.

Кирсанов побледнел.

— Это эпикуреизм гибели. Во всех нас жив еще Печорин.

— Оставь, Жорж!—сказал Соловьев.—Ты веришь в одно, я в другое. Ты имеешь право, тяжелое право жить. Этот суровый приговор мыслью тебе назначен. И ты вынужден будешь пережить скрипение виселиц, целые ночи, в течение которых волосы покрываются инеем седины. Твоя правда обрекла тебя на тяжелую долю. Тебе нельзя умереть. Ты веришь и чувствуешь, и для этой веры и чувства ты должен жить.

Автор в этой сцене изображает те мучительные моменты, какие приходилось переживать людям, не признававшим террора в момент Липецкого с‘езда. Страсти, как известно, тогда разгорелись до небывалых границ. Не все так относились к вопросу, как Соловьев.

Автор приводит следующую сцену.

Северов (вымышленная фамилия; повидимому, Морозов) ставит саркастическое предложение: заменить название „Земля и Воля“ названием „Братство имени Комиссарова“ (спасшего жизнь Александра II во время покушения Каракозова).

— Такие вещи не забываются,—крикнул Кирсанов.

— Ты неправ, Северов,—сказал Соловьев,—кто из нас избирает жизнь, тот готовит себе горшую участь.

— Не в этом дело,—возразил Северов,—вопрос принципиальный. Кем мы являемся: развратителями народа или его воскресителями?

— Кажется, вопрос действительно принципиальный — подвел итог Кирсанов. В одной организации мы оставаться не можем...

Вопрос был решен... На следующий день Соловьев должен был совершить покушение. Собравшиеся на совещание начали расходиться. Кирсанов подошел к Соловьеву и обнял его. Мы отодвинулись, услышав рыдания. Кирсанов плакал.

— Тяжело мне... Все вы будете так уходить один за другим, а я останусь здесь на ваших могилах. Убеди меня, что это нужно, убеди меня, что я имею право умереть...

— Нет—сказал Соловьев.—Ты будешь жить, потому что мыслью ты выше нас. Ты должен вынести свою собственную мысль.

— Я предпочитал бы идти с тобою.

— Знаю, Жорж! Ты силен. Мысль твоя—крепкая, здоровая. Ты выдержишь. Необходимо, чтобы ты жил, чтобы был кто-нибудь, кроме ночи над трупами, чтобы мысль оставалась в глубине и продолжала ковать без перерыва.

— А в это время будет сочиться в подземельях ваша кровь... И она будет кричать: роешь, крот, живешь...

— Умирая, я буду думать: куют в подпольях мысль, нашу мысль. Жорж! будь кузнецом железной мысли русского народа! Мы оставляем тебе воспоминание о нас. Пусть это будет твоим молотом. Тебе предстоит выковать стальную мысль в душах рабов,—мысль непреодолимую, как те силы, которые вызвал на свою службу человек...

Бржововский в своем произведении еще не раз возвращается к Кирсанову—Плеханову... Но и приведенного нами довольно.

Завещание Соловьева выполнено Плехановым. Марксистская мысль, пионером которой он уже был в то памятное время, постепенно просачивалась в рабочие массы и в дни Октябрьской революции дождалась своего полного торжества...

Кузнец Плеханов сделал свое дело.

Феликс Кон.

* * * * * *

Из моих воспоминаний о Г. В. Плеханове.[1]

В 1889 г., когда я приехала в Цюрих, общая картина политических настроений в русской революционной среде носила народнический характер. В рядах жившей там эмиграции и сочувствующей ей

[1] Статья была напечатана в Тамбовском „Трудовом объединении". В виду чрезвычайно малого распространения этого специального издания интересная статья тов. Л. И. Аксельрод широкой читающей публике неизвестна. Мы перепечатываем ее с изменениями и некоторыми дополнениями и исправлениями автора. Ред.

русской революционной молодежи господствовали клочки и обрывки народнических воззрений 70-х и Народной Воли 80-х гг. Шли бесконечные споры о програме и тактике. Споры же были тем более запальчивые и раздражительные, что русское революционное движение переживало тогда, как это, к прискорбию, у нас слишком часто повторяется, переходную критическую эпоху. На очереди дня стоял проклятый российский вопрос: „что делать?“

Возникшая в 1883 г. группа Освобождения Труда, успевшая в продолжение шестилетнего энергичного своего существования сделать чрезвычайно много для развития и выяснения своих идей, не пользовалась популярностью. Наоборот, общее отношение к этой новой революционной организации, к ее программе и тактике, было отрицательное до последней степени. Помню, как немного спустя после моего приезда в Цюрих, один мой знакомый, провожая меня поздно вечером домой, указал рукой на светившееся окно и многозначительно заметил: „Видите свет в окне второго этажа вот этого дома?“—„Вижу, так что?“—„В этом доме живет русский социал-демократ-освободитель и, представьте себе, страстный поклонник Плеханова.“—С большим и жадным любопытством посмотрела я на „странный, таинственный“ дом, в котором жил „освободитель“ [2]).

Русский социал-демократ был в то время довольно редким экземпляром, а признать Плеханова основателем нового, серьезного революционного течения и быть его поклонником значило для большинства революционеров-народников стоять по ту сторону добра и зла.

Я, поэтому, очень хорошо поняла моего знакомого, указавшего на дом, в котором жил социал-демократ, как на клетку редкого зверя. И в особенности был для меня понятен высокомерный, слегка презрительный тон, с которым он произнес слова: „поклонник Плеханова“.

Разделяя общее, господствующее настроение и предрассудки революцинной среды, я представляла себе социал-демократическое учение наглым, чуть ли не преступным нарушением революционных традиций и дьявольским тормазом на пути к дальнейшему движению революционной мысли и революционного дела, а отсюда уже логически следовала само собой крайне отрицательная оценка личности и свойств таланта основателя русского марксизма.

В эклектическом миросозерцании народников суб'ективное, нравственное начало играло, как известно, господствующую роль. Нравственное осуждение существующего социально-политического порядка,

---

[2]) П. Л. Лавров написал рецензию на первую социал-демократическую брошюру Плеханова „Социализм и политическая борьба“, в которой назвал иронически членов „Группы Осв. Тр.“ „Освободителями“.

сочувствие угнетенным и эксплоатируемым и нравственный долг мыслящей интеллигенции перед народом составляли главную духовную основу общего миросозерцания народника. Другими словами, нравственная оценка исторического и общественного бытия заменяла собою учет об'ективных общественных сил и их действительного взаимоотношения. Идеалы будущего рассматривались, как самопроизвольное начало, определяющееся свободной волей личности.

Научно-об'ективное начало в построении народничества, без которого, к слову сказать, не обходится ни одна утопия—казалось случайным элементом, несмотря на горячие теоретические споры о судьбах русского капитализма, о социалистических потенциях поземельной общины и о возможности „перескочить" через капиталистический порядок непосредственно к социализму и т. д. Короче, в народническом течении всех оттенков преобладали суб'ективный метод и преклонение перед нравственной „формулой прогресса". Но было бы, тем не менее, глубоко несправедливо утверждать, что последователи народнической романтики чуждались научной мысли или просвещения. Отнюдь нет. Наоборот, чтение серьезных книг по некоторым и довольно разнообразным отраслям человеческого знания считалось чуть ли не обязательным для революционера народнического толка. И нет никакого сомнения, что революционеры 80-х годов читали несравненно больше, нежели современные социал-демократы и социалисты революционеры, которые к великому ущербу для социалистического дела питаются духовно почти-что исключительно газетной литературой. К науке существовало у народников большое уважение. Тем не менее, наука и революция представлялись им, как противоположные категории. Главная причина такого взгляда на взаимоотношение научной мысли и революционной практики заключалась, как мне кажется, в утопическом стремлении перегнать западно-европейскую цивилизацию при помощи морально-суб'ективных усилий героических личностей. Об'ективная серьезная оценка русской действительности, научное обоснование программы и тактики могли легко разрушить отрадные и заманчивые иллюзии насчет немедленного осуществления социалистического строя. Отсюда совершенно понятно психологическое раздражение, с которым большинство революционеров встретило первые произведения Г. В. Плеханова.

Новое революционное мировоззрение, основанное на строго научном мышлении, требовавшее беспристрастного, всестороннего анализа общественных отношений, мировоззрение, противополагавшее популярной нравственной „формуле прогресса" Михайловского об'ективный метод Маркса-Энгельса, означало полный решительный разрыв со старыми навыками революционной мысли; разрыв, который должен был оттолкнуть подавляющее большинство революционеров

от смелого новатора. Марксистский метод, который, по словам Коммунистического Манифеста, должен возвыситься до понимания хода исторического движения, и согласно которому капитализм и сильное развитие промышленной буржуазии являются необходимыми историческими предпосылками социализма, казался утопистам-народникам реакционным методом, а проповедник этого метода являлся в их глазах изменником революционному делу.

Георгий Вилентинович рассказывал как-то, что когда отец привез его в кадетский корпус, ученики корпуса, его будущие товарищи, встретили новичка кулаками. „Я не знал,—вспоминал Г. В.,—этого обычая, будучи уверенным, что в храмах науки только учение имеет место [1]). Но я сейчас сообразил, что раз дерутся, надо дать сдачи; и дал. Драчуны, как мне казалось, остались довольны моей сообразительностью, и мы впоследствии стали товарищами".—Точно таким же образом был встречен революционными кругами сделанный Георгием Валентиновичем прорыв в истории. Сказанное им новое и сильное слово вызвало прежде всего страшное желание драться. И точно так же, как и в кадетском корпусе, Г. В., дал сдачи.

Классический ответ П. Л. Лаврову и Л. Тихомирову—„Наши разногласия"—возбудил в народнической среде бурю негодования. Это историческое произведение, как рассказывали люди, заслуживающие полного доверия, некоторыми революционными кружками сжигалось. Фанатики-сектанты, воспитанные на методах борьбы азиатского самодержавия, воображали, повидимому, что мысль и духовное творчество можно и в XIX столетии истребить при помощи огня.

Вся окружающая атмосфера, в которой пришлось Плеханову вести борьбу за свои новые идеи, была насыщена злобой, ненавистью и подчас плохо скрываемой завистью к молодому, сильному и блестящему борцу. Творили клевету, словно боги, из ничего. Но странное дело, несмотря на такую дикую травлю, каждое выступление Георгия Валентиновича в той или другой швейцарской колонии было для всех, без всякого исключения, истинным, праздничным событием. Первый раз мне довелось слышать Плеханова в 1891 году. Еще за месяц до его приезда в Цюрих читать лекцию или, как тогда говорили, „реферат", молодежь, определенно настроенная против социал-демократического учения вообще и высказывавшая явное нерасположение к Георгию Валентиновичу в частности, ждала его приезда с жадным нетерпением. И вот, не вспомню сейчас точно, в каком именно месяце первой половины зимы, ко мне в комнату влетела одна

---

[1]) По свидетельству сестер Георгия Валентиновича, Варвары Валентиновны и Клавдии Валентиновны, Г. В. был в детстве очень сосредоточенным мальчиком, избегавшим шалости и драк. Самым любимым его занятием было чтение.

моя приятельница и, не успев поздороваться, сообщила с волнением в голосе: „Плеханов приехал“.—Чему же вы так радуетесь? спросила я, ведь вы же, насколько мне известно, далеко не поклонница идей „Группы Освобождения Труда“, а личность Плеханова, помните, как вы не однажды характеризовали?—Она немного смутилась, а затем, собравшись с мыслями, ответила: „Люблю слушать его, он талант и уж больно хорошо говорит.“

На следующий день, вечером, все русские, находившиеся в Цюрихе, буквально все, кроме больных и детей, спешили на лекцию Плеханова.

Темой лекции был волновавший тогда Россию голод. Тема эта, помимо общего и жгучего значения, имела еще и частный, специальный, так сказать, партийный интерес. Как уже было замечено, социал-демократия представляла собою в количественном отношении ничтожную величину, но в смысле качества первые последователи „Группы Освобождения Труда“ являлись, по весьма понятной причине, наиболее политически мыслящими людьми. Они больше думали и больше читали, нежели теперешние социал-демократы. Тем не менее и над их головами тяготела традиционная мысль их недалекого прошлого. Оторванность от сложной и многообразной действительности, вкоренившееся в плоть и дух сектантство, привычка противополагать себя во всем и **абсолютно** всему остальному миру суживала их кругозор и мешала усвоению нового, чуждого сектантства и утопизма материалистического научного миросозерцания Плеханова.

Это духовное наследие сектантского прошлого ярко сказалось в вопросе об отношении социал-демократии к голоду. Во-первых, участие в организации помощи голодающим представлялось молодым социал-демократам филантропическим делом, идущим в разрез с революционными методами действий; во-вторых, мысль о борьбе с голодом при самодержавном режиме казалась им молчаливым признанием этого последнего; в-третьих, голод являлся с их точки зрения фактором прогресса, т. к. это народное бедствие должно было вести к якобы „желательной“ скорейшей пролетаризации деревни.

Г. В. Плеханов держался другого взгляда на этот вопрос. С его точки зрения, живое деятельное участие в организации помощи голодающим открывало благотворную почву для революционной агитации против того же самодержавия. Гуманное сострадание голодающим и стремление оказать несчастным крестьянам посильную помощь совпадало в широком воззрении Плеханова с политической целесообразностью, нравственный долг согласовался с социально-политическими задачами. Между молодыми учениками и учителем возник, та-

Ясно, что лекцию ждали с особенно напряженным интересом. К 8 часам вечера большой зал был переполнен.

На эстраде появился Плеханов. Тогда среди русских не было обычая встречать оратора рукоплесканиями. Наоборот, при появлении Плеханова мгновенно воцарилась такая тишина, что действительно можно было услышать жужжание мухи, если бы таковой вздумалось прилететь. Я увидела Плеханова в первый раз. Не стану описывать подробно его наружность. С чисто внешней стороны она известна по фотографиям. Говорю, с внешней стороны, так как познание наружности человека, а в особенности—наружности крупного человека, также не дается сразу, а требует тщательного и тонкого наблюдения в продолжение значительного периода времени и при различных условиях жизни. При первом же взгляде на Георгия Валентиновича бросалось в глаза резкое его отличие от других видных эмигрантов. Почти на всех эмигрантах, которых мне пришлось видеть до тех пор, был сильный отпечаток нигилизма, отщепенства и оторванности от окружающей их действительности. С первого взгляда было видно, что это-люди кружка, адепты секты. Во внешнем облике Г. В. Плеханова, наоборот, не заметно было и тени сектантства. На эстраде стоял блестящий человек или, как французы говорят, belle homme лет 30 слишком, с изящными благородными манерами, со сдержанными движениями, одетый тщательно, разумеется, без признаков франтовства, но с хорошим вкусом, обнаруживавшим художественную натуру и человека, украшающего свой костюм.

Г. В. начал свою речь с легким, едва заметным волнением в голосе, свойственным истинному артистическому таланту и настраивающим слушателей на известный лад. Чарующий тембр голоса, чудесное произношение, ясная и отчетливая дикция, строго литературная речь, словом классическая форма ораторского искусства приковывали эстетическое внимание слушателей. Но власть Плеханова над аудиторией об'яснялась не только формой. Действовало, как всегда и во всем, главным образом, содержание.

Огромная эрудиция, полное господство над предметом, широкое миросозерцание, железная, ясная и в то же время гибкая и оригинальная мысль, плюс бурная, революционная страсть, плюс тонкое, образное остроумие,—все эти слагаемые, сосредоточенные в одном избраннике природы, приводили слушателей, всех слушателей, без всякого исключения, в восторженное состояние, вызывая высокий духовный под'ем и усиленную работу мысли.

В первой части лекции Георгий Валентинович нарисовал полную и страшную картину голода, об'ясняя причину народного бедствия историческими условиями российского бытия и в частности государственной системой самодержавия. И „холодный“ марксист Пле-

ханов, который, по словам народников, рекомендовал „варить крестьянина в фабричном котле", довел некоторых слушателей до слез. Казалось, что вся толпа слилась в одно целое и что сердце этого слитного целого дрогнуло, когда оратор закончил один оборот речи словами поэта:

Не беда, что потерпит мужик,
Так ведущее нас провидение
Указало, да он же привык.

Вторая часть лекции была посвящена изложению задач социал-демократов в борьбе с голодом.

Настроение присутствующих поднималось все выше и выше и естественно сообщалось оратору, который жил одним настроением с публикой и в то же время стоял совершенно отдельно от нее на высоком пьедестале, стараясь классической ясностью своего блестящего изложения поднять ее на все большую и большую интеллектуальную и моральную высоту. Тут ярко сказывался свойственный Г. В. Плеханову социалистический культурный демократизм, т. е. *демократизм истинный*. История древней Греции рассказывает, что Перикл, собираясь говорить перед афинским народом, молил богов, чтобы никакое неприличествующее предмету или неблагозвучное слово не вырвалось из уст его. Плеханов был, как известно, философом-материалистом. Он не верил в помощь богов, так как не признавал их существования, но говорить публично было для него, как для доблестного афинского гражданина, ответственным и священным делом. Чувствовалось, что лекция, несмотря на изумительную свободу изложения, продумана и обработана с величайшей тщательностью как по содержанию, так и по форме.

После двухчасовой лекции последовали прения. Выступали „официальные", так сказать, оппоненты, народники, считавшие своим партийным долгом возражать Плеханову. И надо сказать правду, это был действительно тяжкий, аскетический долг, ибо говорить после Плеханова и произведенного его речью впечатления значило обречь себя на полный провал. Публика слушала оппонентов рассеянно, ожидая с большим и очевидным нетерпением заключительного слова оратора, в котором последний отвечал оппонентам, а также на заданные вопросы некоторых слушателей. Мой сосед и приятель, который еще не был социал-демократом, обратившись ко мне после лекции, заметил: „вы еще услышите заключительное слово. Он замечательно полемизирует". Заключительное слово было в самом деле прекрасным произведением искусства. И тут, в этой импровизации, не было ни одного неприличествующего предмету или неблагозвучного слова. Но прежде всего сказывалась в нем героическая бое-

вая натура и сильный полемист в стиле Лессинга. Противники были разбиты на голову и, казалось, рады, что кончилось их тяжкое испытание.

На следующий день вечером состоялись собеседования, в которых принимали участие определившиеся социал-демократы и сочувствующие. На этом интимном узком собрании мне не пришлось присутствовать. Но рассказывали, что Плеханов был „в ударе" и с изумительной, исчерпывающей обстоятельностью давал ответы на все вопросы.

В общем приезд Плеханова имел огромное значение. Колебавшиеся примкнули к новому течению революционной мысли. В колонии долго спустя после от'езда Г. В. говорили и спорили о прочитанном „реферате" и с увлечением повторялись остроты оратора. Словом, как уже сказано выше, посещение Г. В. было большим событием в жизни русской колонии.

Впоследствии, когда я с моей покойной сестрой Идой Исааковной жили, начиная с 1894 года, в Берне, мне пришлось от имени бернской социал-демократической группы вести переписку с Георгием Валентиновичем насчет его приезда читать ту или другую лекцию. Колония, зная, что эта приятная обязанность возложена на меня, не давала мне в буквальном смысле покоя. Могу сказать без всякого преувеличения, что каждый, кого только пришлось встречать мне или моей сестре в университете или на улице, задавали первый вопрос: „когда приедет Плеханов?"

Все прочитанные Георгием Валентиновичем лекции в Берне от 1894 до 1903 г. и все его жаркие полемические схватки с оппонентами живут в моей памяти полной жизнью. Но, к сожалению, размеры, отведенные для данного очерка, лишают меня возможности поделиться с читателем полностью моими воспоминаниями. Утешаюсь надеждой, что если фурия смерти, которая так безжалостно уничтожает теперь массами человеческие жизни, не унесет и меня к другому берегу, я вернусь к этой захватывающей меня теме. А пока не могу не остановиться на еще одном реферате Г. В. Плеханова. Это было, если не ошибаюсь, в 1898 году. Георгий Валентинович читал, или точнее, говорил об общих задачах русской социал-демократии. Как всегда, зал был битком набит, как всегда, присутствующие слушали лектора с напряженным вниманием, прерывая там и тут торжественную тишину залы громом рукоплесканий, как всегда финал, вызвал настоящую, длительную, дружную и бурную овацию и, наконец, как всегда, выступили оппоненты народники. Возражали Ж. и Р.. Оба оппонента указывали на основное, с их точки зрения, противоречие в русской социал-демократической программе. Это противоречие состояло в том, что, с одной стороны, массовое движение возможно лишь

при условии существования политической свободы, а с другой, политическая свобода может быть лишь результатом массового рабочего движения. Русская социал-демократическая программа вращается поэтому в безысходном заколдованном кругу. Продолжая эту мысль, Р. вывел заключение, что у „Группы Освобождения Труда“ русская национальная программа вообще отсутствует.

В своем заключительном слове Г. В. дал блестящий и обстоятельный ответ своим противникам. Остановившись на указанном якобы противоречии, оратор развернул с изумительным мастерством диалектику в движении истории человечества. При помощи многочисленных, ярких фактов социальной борьбы классов, он показал, каким образом подобного рода противоречия находят свое синтетическое примирительное разрешение в поступательном ходе исторической действительности. Движение рабочего класса, обусловленное классовыми противоречиями, совершается и не может быть остановлено полицейским самодержавием. В борьбе за политическое освобождение рабочий класс будет играть главную решительную роль, а с другой стороны, завоевание политической свободы явится могучим фактором на пути дальнейшего поступательного движения народных рабочих масс. Выходило, что то, что кажется оппонентам логическим формальным противоречием и заколдованным кругом, есть на самом деле противоречие историческое, коренящееся в недрах общественной действительности и находящее свое разрешение в ходе социального развития.

Затем, дойдя до упрека в том, что у русских социал-демократов нет программы, Георгий Валентинович взял лежавшую перед ним программу „Группы Освобождения Труда“, положил ее к себе на грудь и, придерживая ее обоими руками, обратился к публике со словами: „Вот наша программа! Вот она! Нужно только научиться внимательно читать ее“. Зал на мгновение замер, а затем раздался гром аплодисментов, длившихся, мне думается, минут пять. Публика почувствовала, что программа на груди Плеханова, это часть его души, и что за эту программу автор готов идти на Голгофу. Публика почувствовала это и дала своему чувству сильное и яркое выражение. Г. В. стоял на эстраде, слегка взволнованный и бледный. Р., раздраженный поражением, крикнул на всю залу: „где мои галоши?“ Он под аккомпанемент дружного смеха присуствовавших решился, повидимому, бежать с поля битвы. Но другой оппонент Ж., явно увлеченный красотой и величием момента, любовался оратором. Об этом отчетливо говорили его воодушевленные черты лица и восхищенный взгляд, устремленный на Плеханова.

Так, таким истинным триумфом закончилось памятное, я уверена, для всех присутствовавших собрание.

при условии существования политической свободы, а с другой, политическая свобода может быть лишь результатом массового рабочего движения. Русская социал-демократическая программа вращается поэтому в безысходном заколдованном кругу. Продолжая эту мысль, Р. вывел заключение, что у „Группы Освобождения Труда“ русская национальная программа вообще отсутствует.

В своем заключительном слове Г. В. дал блестящий и обстоятельный ответ своим противникам. Остановившись на указанном якобы противоречии, оратор развернул с изумительным мастерством диалектику в движении истории человечества. При помощи многочисленных, ярких фактов социальной борьбы классов, он показал, каким образом подобного рода противоречия находят свое синтетическое примирительное разрешение в поступательном ходе исторической действительности. Движение рабочего класса, обусловленное классовыми противоречиями, совершается и не может быть остановлено полицейским самодержавием. В борьбе за политическое освобождение рабочий класс будет играть главную решительную роль, а с другой стороны, завоевание политической свободы явится могучим фактором на пути дальнейшего поступательного движения народных рабочих масс. Выходило, что то, что кажется оппонентам логическим формальным противоречием и заколдованным кругом, есть на самом деле противоречие историческое, коренящееся в недрах общественной действительности и находящее свое разрешение в ходе социального развития.

Затем, дойдя до упрека в том, что у русских социал-демократов нет программы, Георгий Валентинович взял лежавшую перед ним программу „Группы Освобождения Труда“, положил ее к себе на грудь и, придерживая ее обоими руками, обратился к публике со словами: „Вот наша программа! Вот она! Нужно только научиться внимательно читать ее“. Зал на мгновение замер, а затем раздался гром аплодисментов, длившихся, мне думается, минут пять. Публика почувствовала, что программа на груди Плеханова, это часть его души, и что за эту программу автор готов идти на Голгофу. Публика почувствовала это и дала своему чувству сильное и яркое выражение. Г. В. стоял на эстраде, слегка взволнованный и бледный. Р., раздраженный поражением, крикнул на всю залу: „где мои галоши?“ Он под аккомпанемент дружного смеха присуствовавших решился, повидимому, бежать с поля битвы. Но другой оппонент Ж., явно увлеченный красотой и величием момента, любовался оратором. Об этом отчетливо говорили его воодушевленные черты лица и восхищенный взгляд, устремленный на Плеханова.

Так, таким истинным триумфом закончилось памятное, я уверена, для всех присутствовавших собрание.

Слушая Георгия Валентиновича в данной обстановке, подчас казалось странным и обидным, что такому огромному человеку, такому классическому оратору, лукавая судьба русской истории отвела для устной пропаганды и агитации такую ограниченную арену, как русские колонии в Швейцарии.

У швейцарского поэта Шпитшелера есть сильное и красивое стихотворение, в котором поэт изображает положение орла, случайно попавшего в курятник. Очутившись в курятнике, орел сделал попытку приспособиться к новой обстановке, но не выдержал. Потоптался, потоптался царь пернатых, хлопнул своими могучими крыльями и понесся вверх, в свою высокую сферу, туда, где, по словам нашего поэта, кроме орла лишь ветер гуляет.

Так решают проблему жизни великой личности духовные аристократы, индивидуалисты.

Иначе смотрел на эту проблему основатель русской социал-демократии. На нашем последнем свидании с Георгием Валентиновичем 7-го января ст. ст. прошлого года покойный Г. В. в беседе с нами [1]) о философии и религии, между прочим, рассказал, что, будучи ребенком лет 6-7, он пришел к заключению, что Богу должно быть необычайно скучно. Бог ведь один, совсем одинокий, между тем, как каждому мужику весело, так как на деревне много людей, гораздо больше чем даже в усадьбе.

Вот когда и каким оригинальным образом зародилось в голове мыслителя-революционера начало демократической мысли.

Орел по своим богатым дарованиям, но демократ до мозга костей, Георгий Валентинович совершенно не замечал резкого контраста между калибром своей личности и узкой ареной его устной агитационной деятельности.

И хорошо, что не замечал.

Ибо его устная агитационная работа в русских колониях за границей имела огромное, не поддающееся точной оценке историческое значение..

Л. И. Аксельрод (Ортодокс).

* * * * * *

---

[1]) Беседа происходила во французской на Васильевском Острове больнице, в палате моей покойной сестры И. И. Нас было трое, Георгий Валентинович, Ида Исааковна и я.

Несколько встреч с Георгием Валентиновичем Плехановым.

Личных воспоминаний о Георгии Валентиновиче у меня немного. Я встречался с ним не часто. Встречи эти, правда, не лишены были некоторого значения, и я охотно поделюсь моими воспоминаниями, поскольку редакция настоящего сборника мне это предложила.

В 1893 году я уехал из России в Цюрих, так как мне казалось, что только за границей я смогу приобрести знания, необходимого для меня об'ема и характера. Мои друзья Линдфорс дали мне рекомендательное письмо к Павлу Борисовичу Аксельроду.

Сам Аксельрод и его семья приняли меня с очаровательным гостеприимством. Я был уже к этому времени более или менее сознательным марксистом и считал себя членом социал-демократической партии (мне было 18 лет, но работать, как агитатор и пропагандист, я начал еще за два года до от'езда за границу). Все же я чрезвычайно многим обязан Аксельроду в моем социалистическом образовании, и, как ни далеко мы потом разошлись с ним, я с благодарностью числю его среди наиболее повлиявших на меня моих учителей. Аксельрод в то время был преисполнен благоговения и изумления перед Плехановым и говорил о нем с обожанием. Это обожание, присоединяясь к тем блестящим впечатлениям, которые я сам имел от „Наших Разногласий“ и некоторых статей Плеханова, преисполняло меня каким-то тревожным, почти жутким ожиданием встречи с человеком, которого я без большой ошибки считал великим.

Наконец, Плеханов приехал из Женевы в Цюрих. Поводом был большой конфликт между польскими социалистами по национальному вопросу. Во главе национально окрашенных социалистов в Цюрихе стоял Иодко. Во главе будущих наших товарищей стояла, уже тогда блестящая студентка Цюрихского университета, Роза Люксембург. Плеханов должен был высказаться по поводу конфликта. Поезд каким-то образом запоздал, и поэтому первое появление Плеханова обставилось для меня самой судьбой несколько театрально. Уже началось собрание, Иодко уже с полчаса с несколько скучным эмфазом защищал свою точку зрения, когда в зал союза немецких рабочих „Eintracht“ вошел Плеханов.

Ведь это было 28 лет тому назад! Плеханову было вероятно лет тридцать с небольшим. Это был скорее худой, стройный мужчина в безукоризненном сюртуке, с красивым лицом, которому особую прелесть придавали необычайно блестящие глаза и большое своеобразие—густые, косматые брови. Позднее, на Штудгартском с'езде одна

газета говорила о Плеханове: „Eine aristokratische Erscheinung“. И действительно, в самой наружности Плеханова, в его произношении, голосе и манерах было что-то коренным образом барское,—с ног до головы барин. Это, разумеется, могло бы раздражить человека с пролетарскими инстинктами, но, если принять во внимание, что этот барин был крайним революционером, другом и пионером рабочего движения, то, наоборот, аристократичность Плеханова казалась трогательной и импонирующей: „Вот какие люди с нами“.

Я здесь не хочу заниматься характеристикой Плеханова,—это другая задача,—но отмечу мимоходом, что в самой внешности Плеханова и в его обращении было что-то такое, что невольно меня, тогда еще молодого, заставило подумать: должно быть, и Герцен был такой. Плеханов сел за стол Аксельрода, где и я сидел, и обменялся с ним и со мной несколькими любезными фразами.

Что касается самого выступления Плеханова, то оно меня несколько разочаровало. Может быть после острой, как бритва, и блестящей, как серебро, речи Розы. Когда прекратились громкие аплодисменты в ответ на ее речь, старик Грейлих, уже тогда седой, уже тогда похожий на Авраама (а между тем я и 25 лет после видел его таким же почти энергичным, хотя, увы, вместе с Плехановым уже не принадлежавшим к нашей передовой колонне социализма), так вот, Грейлих вошел на кафедру и сказал каким-то особенно торжественным тоном: „Сейчас будет говорить товарищ Плеханов. Говорить он будет по-французски. Речь его будет переведена, но вы, друзья мои, все-таки старайтесь сохранять безусловную тишину и следите со вниманием за его речью“.

И это призывавшее к благоговейному молчанию выступление председателя, и огромные овации, которыми встретили Георгия Валентиновича, все это взволновало меня до слез, и я,—юноша—так что простительно было,—был необычайно горд „великим соотечественником“, но, повторяю, сама речь его меня несколько разочаровала.

Плеханов хотел по политическим соображениям занять промежуточную позицию. Ему, очевидно, неловко было, как русскому, высказаться против польского национального душка, хотя, вместе с тем, он был целиком теоретически на стороне Люксембург. Во всяком случае, он с большой честью и с большим изяществом вышел из своей трудной задачи, сыгравши роль многоопытного примирителя.

Георгий Валентинович остался тогда на несколько дней в Цюрихе, и я, конечно, рискуя даже быть неделикатным, просиживал целые дни у Аксельрода, ловя всякую возможность поговорить с ним.

Возможностей представлялось много. Плеханов разговаривать любил. Я был мальчишка начитанный, неглупый и весьма задорный.

Несмотря на свое благоговение перед Плехановым, я петушился и, так сказать, лез в драку, особенно по разным философским вопросам. Плеханову это нравилось, иногда он шутил со мной, как большая собака со щенком, каким-нибудь неожиданным ударом лапы валил меня на спину, иногда сердился, а иногда весьма серьезно раз'яснял.

Плеханов был совершенно несравнимым собеседником по блеску остроумия, по богатству знаний, по легкости, с которой он умел мобилизовать для любой беседы огромное количество духовных сил. Немцы говорят: „geistenreich!"—богатый духом. Вот именно таким и был Плеханов.

Должен, впрочем, сказать, что мою веру в громадное значение левого реализма, т.-е. эмпирио-критики Авенариуса, Плеханов не поколебал, ибо и трудно было ему ее критиковать, так как он не дал себе труда познакомиться с философией Авенариуса. Шутливо иногда он говорил мне: „Давайте, лучше поговорим о Канте, если вы уж хотите непременно барахтаться в теории познания,—этот, по крайней мере, был мужчина". Может быть, Плеханов и мог бы нанести какой-нибудь удар эмпирио-критицизму, но, нанося его, он часто попадал вправо и влево от него, как он сам любил говорить, „мимо Сидора в стену". Но неизмеримо огромное влияние на меня имели эти беседы, поскольку они, в конце концов, свернули на великих идеалистов, Фихте, Шеллинга и Гегеля.

Я, конечно, уже тогда превосходно знал, какое огромное значение имеет Гегель в истории социализма и насколько невозможно правильное историческое понимание марксистской философии истории без хорошего знакомства с Гегелем.

Позднее Плеханов укорял меня в одном из наших публичных диспутов за то, что я не проштудировал, как следует, Гегеля. Отчасти благодаря Плеханову, я, все-таки, это довольно тщательно проделал, но и без Плеханова я, конечно, почел бы это своим долгом, как человек, готовившийся стать теоретиком социализма. Другое дело Фихте и Шеллинг. Мне казалось за глаза достаточным знакомства с ними по историям философии, я считал, что это уже совсем превзойденная точка зрения, и мало интересовался их учением. Плеханов же с неожиданным для меня восторгом отозвался о них, ни на одну минуту не впадая, конечно, в какую-либо ересь, в роде—назад к Фихте!—что потом возгласил Струве,—он, однако, произнес передо мною такой пламенный, глубокий и великолепный дифирамб Фихте и Шеллингу, нарисовал такие монументальные портреты их, как носителей определенных мировоззрений и мирочувствований, что я немедленно же побежал оттуда в цюрихскую национальную библиотеку и погрузился в чтение великих идеалистов, наложивших на

все мое миросозерцание, могу сказать больше, на всю мою личность, огромную, неизгладимую печать.

Бесконечно жаль, что Плеханов только бегло высказался по поводу великих идеалистов. Знал он их чрезвычайно основательно, даже до удивительности точно, и мог бы написать книгу о них, конечно, не менее блестящую, чем его книга „О материалистических предшественниках марксизма". Правда, я думаю, что вообще все же несколько базаровскому уму Плеханова его вечные друзья Гольбах и Гельвеций из предшественников марксизма были роднее, чем великие идеалисты. Но глубоко погрешил бы против Плеханова тот, кто подумал бы, что другой мощный корень марксизма им игнорировался.

Георгий Валентинович предложил мне переехать к нему, чтобы продолжить нашу беседу, но уже значительно позднее, может быть даже приблизительно через год, точно не помню, я смог приехать в Женеву из Парижа. Это тоже были счастливые дни. Георгий Валентинович писал в то время свое предисловие к „Манифесту коммунистической партии" и очень интересовался искусством. Я им интересовался всегда со страстью. И, поэтому, в этих наших беседах вопрос зависимости надстройки от экономической базы, в особенности в терминах истории искусства, был главным предметом. Я встречался с ним тогда у него в кабинете на rue Gandole, а также в пивной Ландольта, где мы, меняя немало кружек пива, проводили иногда по нескольку часов.

Помню, какое огромное впечатление произвело на меня одно обстоятельство. Плеханов ходил по своему кабинету и что-то мне втолковывал. Вдруг он подошел к шкафу, вынул большой альбом, положил его на стол передо мною и раскрыл. Это были чудесные гравюры картин Бушэ, крайне фривольные, и по моим тогдашним суждениям,—почти порнографические. Я немедленно высказался в том смысле, что вот это-де типичный показатель распада правящего класса перед революцией.

— „Да,—сказал Плеханов, смотря на меня своими блестящими глазами,—но вы посмотрите, как это превосходно, какой стиль, какая жизнь, какое изящество, какая чувственность!"

Я не стану передавать дальнейшей беседы,—это значило бы написать целый маленький трактат об искусстве рококо. Я могу сказать только, что важнейшие выводы Гаузенштейна были, более или менее, предвосхищены Плехановым, хотя не помню, чтобы он совершенно определенно сказал мне, что искусство Бушэ являлось, в сущности говоря, искусством буржуазным, влившимся лишь в рамки придворного быта.

Для меня главным был эстетический дар,—эта свобода суждения в области искусства. У Плеханова был огромный вкус, как мне ка-

жется, безошибочный. О произведениях искусства, ему не нравившихся, он умел высказываться в двух словах с совершенно убийственной иронией, которая обезоруживала, выбивая у вас шпагу из рук, если вы с ним были не согласны. О произведениях искусства, которые он любил, Плеханов говорил с такой меткостью, а иногда с таким волнением, что отсюда понятно, почему Плеханов имеет такие огромные заслуги в области именно истории искусства. Его сравнительно небольшие этюды, обнимающие не так много эпох, останутся краеугольными камнями в дальнейшей работе в этом направлении.

Никогда ни из одной книги, ни из одного посещения музея не выносил я так много действительно питающего и определяющего, как из тогдашних моих бесед с Георгием Валентиновичем.

К сожалению, остальные наши встречи происходили уже при менее благоприятных условиях и на политической почве, где мы встречались более или менее противниками. В следующий раз встретился я с Плехановым только на Штутгардском конгрессе. Наша большевистская делегация поручила мне оффициальное представительство в одной из важнейших комиссий Штутгардского конгресса, именно в комиссии по определению взаимоотношения партии и профсоюзов. Плеханов представлял там меньшевиков. Сначала у нас произошел диспут в пределах нашей собственной русской делегации. Большинство голосов оказалось за нашу точку зрения, колеблющиеся к нам присоединились. Дело шло, конечно, не о какой-либо моей личной победе над Плехановым. Плеханов с огромным блеском защищал свою тезу, но сама теза никуда не годилась. Плеханов настаивал на том, что близкий союз партии и профсоюзов может быть пагубным для партии, что задача профсоюзов в улучшении положения рабочих в недрах капиталистического строя, а задача партии—разрушение его. В общем он стоял за независимость профсоюзов. Во главе противоположного направления стоял бельгиец де Брукер. Де Брукер в то время был очень левый и очень симпатично мыслящий социалист, позднее он сильно свихнулся. Де Брукер стоял на точке зрения необходимости пронизать профессиональное движение социалистическим сознанием на позиции не разрывного единства рабочего класса, руководящей роли партии и т. д. В тогдашней атмосфере горячего обсуждения вопроса о всеобщей стачке, как орудии борьбы, все были склонны пересмотреть свои прежние взгляды, все считали, что парламентаризм становится все более недостаточным оружием, что партия без профсоюзов революции не совершит, и что на другой день после революции профессиональные союзы должны сыграть капитальную роль в устройстве нового мира и т. д. Поэтому позиция Плеханова, общим интернациональным представителем которой был

Гэд, была, в конце-концов, отвергнута и комиссией Конгресса, и самим Конгрессом.

В то время в Плеханове меня поразила некоторая черта старо-верчества. Его ортодоксализм впервые показался мне несколько око-стеневшим. Тогда же я подумал, что политика—далеко не самая сильная сторона в Плеханове. Впрочем, об этом можно было дога-даться по его странным метаниям между обоими большими фрак-циями нашей партии.

Дальше следует встреча на Стокгольмском с'езде. Тут только что упомянутая черта политики Плеханова проявилась довольно ярко. Не то чтобы Плеханов был уверенным меньшевиком на этом с'езде, —он и здесь хотел сыграть отчасти примиряющую роль, стоял за единство (ведь это был „об'единительный" с'езд), утверждал, что в случае дальнейшего роста революции меньшевики не найдут нигде союзников, как только в рядах большевиков и наоборот, и т. д.

Вместе с тем его пугала определенность позиции большевизма. Ему казалось, что он не ортодоксален. В самом деле, главной отли-чительной чертой нашей в то время была крестьянская политика.

Схема революции по меньшевикам была такова: в России про-исходит буржуазная революция, которая приведет к конституционной монархии, в лучшем случае—к буржуазной республике. Рабочий класс должен поддержать протоганистов этой революции — капиталистов, в то же время отвоевывая у них выгодные позиции для грядущей оппозиции, а, в конце-концов, и для революции. Между революцией буржуазной и революцей социалистической предполагалась пропасть времени.

Т. же Троцкий стоял на той точке зрения, что обе революции хотя и не совпадают, но связываются между собою так, что мы имеем перед собою перманентную революцию. Войдя в революционный пе-киод через буржуазный политический переворот, русская часть чело-речества, а рядом с нею и мир, уже не сможет выйти из этого пе-риода до завершения социальной революции. Нельзя отрицать, что, формулируя эти взгляды, т. Троцкий выказал большую проницатель-ность, хотя и ошибся на пятнадцать лет. Между прочим, я должен сказать, что в одной передовой статье в „Новой Жизни" я тоже вы-сказался в смысле возможности захвата власти пролетариатом и сохранения, тем не менее, под его руководством—быстро вростающего в социализм капитализма. Я тогда рисовал картину чрезвычайно близ-кую к нынешнему НЭП, но получил нагоняй от Л. Б. Красина, который нашел статью неосторожной и не марксистской. Большевики, т. Ленин в первую голову, действительно были осторожны, отнюдь не говорили, что началась социальная пролетарская революция, но они считали, что революцию эту нужно продвинуть как можно дальше. Не

занимаясь теоретическими гаданиями и предсказаниями, которые вообще не в духе Владимира Ильича, практически большевики уверенно шли по правильной дороге. Для устройства „плебейской революции“, революции по типу Великой французской, с возможностью продвижения дальше 93 года, союз с буржуазией никуда не годился, поэтому наша тактика была—разрыв с буржуазией. Но мы отнюдь не хотели изолировать пролетариат. Мы указывали ему на огромную задачу, организацию вокруг нас крестьянства, в первую очередь крестьянской бедноты. Плеханов этого понять не мог. Обращаясь к Ленину, он говорил ему, приводя цитату: „в новизне твоей много старины слышится“. Какая старина? — Эсеровская. Плеханову казалось, что сближение наше с крестьянством заставит нас пойти вместе с эсерами и потерять нашу типичную пролетарскую физиономию. Не нужно с совершенным легкомыслием относиться к этому непониманию Плеханова, с легкомыслием, которое сводило бы это все к узости и заскорузлости плехановской сверхортодоксальности.

Разве в нашу великую революцию мы не вынуждены были одно время включить в правительство эсеров, хотя бы и левых, разве это было вполне безопасно? Разве мы не радуемся сейчас, что своей мальчишеской политикой левые эсеры произвели самоотсечение от правительства? Если опасения насчет омужичения Советской власти (которым предаются иногда тт. Шляпников, Коллонтай и др.) неосновательны, то почва, их питающая, каждому ясна. Сейчас даже нельзя с полной уверенностью сказать, как пройдет равнодействующая рабоче-крестьянского правительства, хотя все говорит за правильность предсказания тов. Ленина на II-ом с'езде, что огромный груз крестьянства, который мы—после смычки—вынуждены будем нести за собою, замедлит наше движение, но „тяжкой твердостью своей его стремление крепя“, не заставит его уклониться от прямого направления на коммунизм.

Но все это выяснилось позднее. В то время нам было ясно одно: рабоче-крестьянская революция и есть пролетарская революция, буржуазно-рабочая революция есть измена рабочему классу. Для нас это было ясно, но не для Плеханова. Я помню, что во время очень кусательной речи Плеханова, сидевший рядом со мною Алексинский, тогда крайний большевик, чуть не бросился на него с кулаками, во-время, однако, подхваченный за фалду, отнюдь, впрочем, небестемпераментным тов. Седым.

Увы! Каким печальным союзом Алексинского с Плехановым все это должно было позднее кончиться!

Я возражал Плеханову на Стокгольмском с'езде. Мое возражение сводилось, главным образом, к противопоставлению его взгляду взгляда другого ортодокса — Каутского. Это было легко, ибо в то

время Каутский в брошюре „Движущие силы русской революции" высказался в нашем духе. Но Плеханов особенно рассердился на то, что на его упрек в конспирациях и бланкизме я сказал, что он имеет о практике активной подготовки и активного руководства революцией представление, почерпнутое, повидимому, из оперетки „Дочь мадам Анго". В последней реплике по этому поводу Плеханов говорил всяческие сердитые слова.

Опять прошло несколько лет и мы встретились на Копенгагенском международном Конгрессе, уже после того, как надежды на первую русскую революцию были потеряны. На Копенгагенском Конгрессе я присутствовал в качестве представителя группы „Вперед" с совещательным голосом, но практически я совершенно сошелся с большевиками и, так сказать, принят был в их среду и даже уполномочен был ими представлять их опять-таки в одной из важнейших комиссий, по кооперативам. Здесь mutatis mutandis произошло то же самое, что и в Штутгарте. Плеханов стоял за строжайшее разграничение партии и кооперативов, главным образом, боясь прилипчивости лавочного кооперативного духа.

Надо сказать, что Плеханов на Копенгагенском с'езде стоял гораздо ближе к большевикам, чем к меньшевикам. Насколько я помню, Владимир Ильич не слишком тогда интересовался вопросами о кооперативах, но все же в русской делегации был заслушан мой доклад и возражения Плеханова, и принята точка зрения совершенно параллельная—с известными оговорками — Штутгартской резолюции. В этот раз, однако, Плеханов мало работал по соответственному вопросу, так что спорить с ним особенно не приходилось.

За то у нас установились, почему то, очень хорошие взаимные личные отношения. Он несколько раз приглашал меня к себе, мы оба вместе уезжали с заседаний домой и он с удовольствием делился со мною впечатлениями, я сказал бы, главным образом, беллетристического характера, о конгрессе. Плеханов к этому времени уже очень постарел и был болен, болен весьма серьезно, так что мы все за него боялись. Это не мешало тому, чтобы он был попрежнему блестяще остер, давал чудесные характеристики направо и налево, при чем заметно было и сильное пристрастие. Любил он, главным образом, старую гвардию. Особенно тепло и картинно говорил он о Геде, о тогда уже покойном Лафарге. Заговаривал я с ним и о Ленине. Но тут Плеханов отмалчивался и на мои восторги отвечал не то, чтобы уклончиво, скорей даже сочувственно, но неопределенно. Помню я, как во время одной из речей Вандервельде, Плеханов сказал мне: „Ну, разве не протодиакон?" И это словечко так в меня запало, что для меня и до сих пор велелепные протодиаконские возглашения и ораторский жанр знаменитого бельгийца сливаются воедино. Помню

так же, как во время речи Бебеля Плеханов поразил меня скульптурной меткостью свего замечания: „Поглядите на старика, совершенно голова Демосфена“. В моей фантазии выросла сейчас же известная античная статуя Демосфена и сходство показалось мне, действительно, разительным.

После Копенгагенского с'езда мне пришлось делать доклад о нем в Женеве, и при этом Плеханов был моим оппонентом. Еще несколько раз устраивались дискуссии, иногда философского характера (по поводу, например, доклада Деборина), и на них мы с Плехановым встречались. Я ужасно любил дискуссировать с Плехановым, признавая всю огромную трудность таких дискуссий, но давать здесь какой бы то ни было отчет об этом не решаюсь, так как, может-быть, могу оказаться односторонним.

После отпадения Плеханова от революции, т. е. уклонения его в социал-патриотизм, я с ним ни разу не встречался. Повторяю, здесь дело идет не о характеристике Плеханова, как человека, мыслителя или политика, а о некотором взносе в литературу о нем из запасов моих воспоминаний; быть может, они окрашены несколько суб'ективно: иначе человек писать не может, пусть с этой суб'ективной окраской и примет их читатель. Такую большую фигуру об'ективно вообще не в силах охватить один человек. Из ряда суждений выяснится, в конце-концов, этот монументальный образ. Но одно могу сказать: часто мы сталкивались с Плехановым враждебно, его печатные отзывы обо мне в большинстве случаев были отрицательными и злыми, и, несмотря на это, у меня сохранилось о нем необычайно сверкающее воспоминание; просто, приятно бывает подумать об этих полных блеска глазах, об этой изумительной находчивости, об этом величии духа или, как выражается Ленин, „физической силе мозга“, веявшей от аристократического тела великого демократа. Даже самые огромные [illegible] ретя исторический интерес, скинутся в значительной мере с чашки весов, блестящие же стороны личности Плеханова останутся на веки.

В русской литературе Плеханов стоит в самом близком соседстве с Герценом; в истории социализма—в том созвездии (Каутский, Лафарг, Гед, Бебель, старый Либкнехт), которое лучисто окружает два основных светила, полубогов Плеханова, о которых он, сильный, умный, острый, гордый, — говорил, однако, не иначе, как в тоне ученика,—Маркса и Энгельса!

А. Луначарский.

* * * * * *

К теории ценности Маркса.

(О различном толковании понятия „общественно-необходимый труд“.)

Число лиц, изучающих марксизм, едва ли когда-нибудь было столь значительно, как в последнюю пару лет в России. Сотни партийных школ и семинариев, высших учебных заведений и тысячи кружков самообразования, не говоря уже о десятках тысяч одиночек, кладут в основу своих занятий учение основоположников научного социализма. Марксистские работы, как философско-социологические, так и экономические, зачитываются буквально до дыр. И можно с удовлетворением констатировать, что изучение марксизма носит отнюдь не поверхностный характер: оно идет, так сказать, и в ширь, и в глубь. Идущие под знаменем марксизма отнюдь не принимают на веру все, что им приходится вычитывать из книг наших великих учителей. Они читают критиков, сами критикуют и путем глубокого анализа и всесторонней проверки неизбежно убеждаются в незыблемости цельной, как монолит, системы марксизма.

Особенно горячие споры возникают в среде молодых адептов марксизма, когда им представляется, что тому или иному положению учителя можно дать двоякое толкование, или когда между его учениками или интерпретаторами имеются разногласия. В качестве руководителя кружков и семинариев, мне не раз приходилось быть активным участником дискуссий, возникавших при изучении таких, например, вопросов, как теория ценности, теория денег, проблема производительного труда, теория рынков и кризисов, теория ренты и т. д., и т. д.. Такие споры ведутся, по крайней мере, в десятках семинариев в одной только Москве, но все они не выходят за пределы тесных и, в большинстве случаев, малочисленных аудиторий. Так как эти споры заключают в себе нередко много поучительного, то я думаю, что было бы целесообразно переносить их—при выявлении различных точек зрения—на страницы печати. Наш журнал, надо надеяться, не будет отказывать спорящим сторонам в гостеприимстве.



Г. В. ПЛЕХАНОВ.
(Один из последних портретов.)

Приглашая товарищей устраивать на страницах настоящего издания теоретические дискуссии, я, со своей стороны намерен, сделать в этом направлении, в некотором роде, почин.

Вопрос, который я хочу поставить в этой статье, касается одной существенной „детали“ теории ценности Маркса. Величина ценности товара определяется, как известно, „количеством труда или количеством рабочего времени, общественно-необходимого для его изготовления“ [1]). Но что такое общественно-необходимое рабочее время? На этот вопрос Маркс на первых же страницах „Капитала“ дает точный ответ, не подающий никакого повода ни для кривотолков, ни для „расширительных толкований“. „Общественно-необходимое рабочее время, говорит он,—есть то рабочее время, которое требуется для изготовления какой-либо потребительной ценности при наличных общественно-нормальных условиях производства и при среднем в данном обществе уровне умелости и интенсивности труда“. Ручной ткач, например, может и после введения парового ткацкого станка продолжать работать с прежними орудиями. Однако, если производство единицы товара будет требовать от него двойного количества труда по сравнению с тем, что нужно затратить при общественно-нормальных условиях производства, то продукт его индивидуального рабочего часа будет представлять собою лишь половину общественно-необходимого рабочего часа. Отсюда ясно, что общественно-необходимое рабочее время, при средней умелости и интенсивности, определяется техническим моментом—и только.

Совершенно иное толкование этого понятия мы находим у ряда авторов как из числа сторонников-интерпретаторов Маркса, так и его критиков. Одним из первых на путь расширительного толкования общественно-необходимого труда вступил К. Шрамм, которого „из всех ныне установленных теорий ценности удовлетворяет только одна теория Маркса“ [2]). По мнению этого автора, Марксово определение общественно-необходимого труда „имеет еще другую сторону“, на которую следует обратить особенное внимание, потому что даже среди приверженцев трудовой теории ценности имеется по данному вопросу неясность. „Случается,—говорит Шрамм,—что не только какие-нибудь отдельные вещи без всякой потребительной ценности не имеют никакой меновой ценности, потому что они никому не нужны,

---

[1]) Ср. К. Маркс. Капитал, т. I. Пер. Базарова и Степанова, Москва 1909, стр. 6. Курсив мой. Ш. Д.

[2]) Шрамм по данному вопросу выступил впервые в „Vorwärts“ за 1877 г. и в „Zukunft“ за 1877 — 78 гг. Выдержки из соответствующих статей его можно найти в книжке Tatiana Grigorovici. Die Wertlehre bei Marx und Lassalle. Wien 1910. Я пользуюсь книжкой Шрамма: „Основы экономической науки“, пер. с нем. Н. К. СПБ. 1899 г.

но даже вполне годные и полезные вещи оказываются в положении ненужных и бесполезных по той простой причине. что потребность во таких товарах уже удовлетворена" [1]). Исходя из этого положения, автор продолжает свои рассуждения примерно в следующем духе. Положим, что речь идет о производстве столов. Каждая семья нуждается, скажем, в трех столах. Но столяры по неведомой нам причине (ведь при анархии производства все возможно) вздумали произвести такое количество столов, что на каждую семью придется по 50 штук этого „положительно необходимого предмета обмеблировки". Между столярами и главами семейств происходят поучительные прения, в результате которых выясняется, что в 50 столах, требующих для своего производства по одному дню, скрыто „три дня общественно-необходимого труда и 47 дней безполезного труда". Но так как меновую ценность образует лишь общественно-необходимый труд, то в 50 столах заключается столько же ценности, как если бы они представляли три необходимых каждой семье стола. Если столяры с досады сожгут по 47-ми столов из каждых 50, то в руках у них останется столько же меновой ценности, как и в случае, если бы они изготовили всего только по 3 стола на семью... Вследствие перепроизводства числа столов, необходимого *для покрытия существующей в них общественной потребности*, в каждых 50 столах заключается столько же ценности, как в обычное время в трех столах. Если 50 столов стоят столько же, сколько обыкновенно стоят 3, то что же стоит один стол?—50 столов=3 дня работы, следовательно, 1 стол=$\frac{3}{50}$ рабочего дня" [2]). А отсюда делается вывод, что обычного определения общественно-необходимого времени не достаточно: „требуется еще, чтобы это общественно-необходимое рабочее время действительно было *необходимо для покрытия существующей в обществе потребности*" (курс. авт.) [3]).

Совершенно аналогичную теорию развивает Л. *Будин*. Он также придает решающее значение размерам общественных потребностей и считает совершенно недостаточным понимание общественно-необходимого труда, как некоторой технической средней. „Следует,—говорит он,—принимать в соображение не только общую его (предмета) полезность и его действительную необходимость для некоторых

---

[1]) К. Шрамм. ук. раб., стр. 38.

[2]) Там же, стр. 39—40. Курс. авт.

[3]) С этой теорией вполне соглашается Шефле. Констатируя, что в „определение общественной ценности („меновой ценности") должны входить не только издержки (трудовые И. Д.), но также и изменчивость потребительной ценности", он вполне солидаризуется с выше приведенными рассуждениями Шрамма, но он отнюдь не склонен признавать, что Шрамм правильно понял Маркса.—См. Шефле. „Сущность социализма". С прим. П. Лаврова. Изд. Вл. Распопова. 1906 г. стр. 48.

членов общества, но также и то, не удовлетворена ли уже в достаточной степени при современном состоянии общественной экономии, потребность в подобных предметах по сравнению с другими потребностями и приняв во внимание общие условия производства и распределения в данном обществе. Если произведено слишком много не абсолютно, а в сравнении с данными общественными условиями и отношениями, то такое производство не создает добавочной ценности. Соответственное количество труда оказывается затраченным напрасно. Разумеется, это не значит, что определенный индивидуальный труд не создает никакой ценности или что произведенный определенный предмет не будет обладать ценностью. Но так как ценность является общественным отношением, то весь труд, затраченный в данном обществе на производство этого рода, произведет пропорционально меньшую ценность, каждый отдельный предмет настолько обесценится, чтобы все количество произведенных предметов этого рода обладало ценностью не больше той, которая заключалась бы в нем, если бы не был затрачен этот добавочный труд и не было произведено добавочное количество этих предметов" [1]).

Г-н С. Франк в своей известной книге, выступает, конечно, сторонником более „широкого определения" интересующего нас понятия. С его точки зрения, для труда, создающего ценность, отнюдь не достаточно, чтобы качественные условия его приложения были условиями технически необходимыми в данный момент. Требуется, говорит он, „чтобы самый труд этот был необходим для общества, т.-е. для удовлетворения общественной потребности, и чтобы количество его совпало с тем, которое необходимо для общества. На ряду с технической необходимостью здесь ставятся условия создания ценности, также и общественная, в тесном смысле этого слова, необходимость, т.-е. необходимость для удовлетворения потребностей" [2]). Но чем определить размеры потребностей? Оказывается, что они зависят от целого ряда моментов, и от психологических, и от социальных, и от физиологических, и от физических, и от других моментов, которые с техническими условиями производства не имеют ничего общего. А если это так, то г. Франк имеет возможность „интерпретировать" теорию ценности Маркса так, что от Маркса-то по существу ничего не остается. „Теория общественно необходимого труда,—говорит наш

---

[1]) Л. Будин. Теоретическая система К. Маркса в свете новейшей критики. Пер. с англ. В. И. Засулич. Москва 1920 г., стр. 82—83. Впрочем, Будин излагает в своей книжке, по крайней мере в части, касающейся политической экономии, не „теоретическую систему К. Маркса", а систему, им самим придуманную. См. на этот счет мою рецензию в № 1 журнала „Печать и Революция" за 1921 г.

[2]) С. Франк. Теория ценности Маркса и ее значение. СПБ. 1900 г., стр. 116. Курс. авт.

автор,—как источника ценности, сводится таким образом сама собою к теории, ставящей высоту ценности в зависимость от состояния потребностей“ [1]. Не менее недвусмысленно высказывается г. Франк в другом месте: „Понятие общественной необходимости труда само указывает на то, что источником меновой ценности служит не сам труд, а общественная потребность в нем“ [2]. При таком толковании дается не только лазейка для ревизии Маркса, но открывается и широкая дорога для эволюции по направлению к психологически-потребительной теории ценности и для замены Карла Маркса Евгением фон Бем-Баверком.

Версию Шрамма—Шефле—Будина—Франка принимает как соответствующую воззрениям Маркса и покойный А. Н. Миклашевский, который, в отличие от подавляющего большинства своих коллег-профессоров, несомненно был хорошо знаком с марксистской литературой. Но Миклашевский хорошо понимал, что введение момента потребностей не в качестве предпосылки ценности, а в качестве фактора, ее определяющего, порождает внутреннее противоречие в теории Маркса. „Все построения закона ценности Маркса, стремившегося отделаться от потребностей, как фактора психологического, а не материального, были разрушены введением учения об общественно-необходимом труде. Труд,—говорит дальше Миклашевский,—становился образующим ценность, все-таки, лишь при наличности условия пригодности товара для удовлетворения общественной потребности и превращался в ничто со всяким видоизменением потребностей. Другими словами, получалось важное ограничение проблемы: труд создавал ценность только тогда, если его затрачено было нужное „количество“ для удовлетворения определенного же „количества потребностей“ [3]. Учение Маркса об общественно-необходимом труде, по мнению Миклашевского, оказалось простым учением „о законе количеств продукта, т.-е. учением о редкости“.

Такова точка зрения сторонников „общественной средней“. Дальше мы увидим, что неправильное понимание одного места из III тома Капитала может дать плохой, но все же аргумент для отрицания „технической средней“. Сейчас же перейдем к рассмотрению вопроса о том, насколько только что изложенная теория мирится с методологическими основами учения Маркса.

Возьмем общество простых товаропроизводителей, в котором закон ценности не усложняется превращением последней в цену производства и в котором этот закон действует в чистом виде, по-

---

1) Там же, стр. 117.

2) Там же, стр. 121. Курс. мой. Ш. Д.

3) А. Миклашевский. „История политической экономии“. Юрьев. 1909 г. Стр. 540—541. Курс. мой. Ш. Д.

добно закону падения тел в абсолютно пустом пространстве. Мы имеем здесь сложнейшую систему разделения труда, множество отраслей промышленности, из которых каждая охватывает тысячи отдельных формально друг от друга независимых товаропроизводителей. Ни один „хозяйствующий суб'ект“ не производит для личного потребления: все продают весь продукт своего производства. Для простоты предположим далее (для простого товарного производства это вполне допустимо), что количество индивидуально необходимого труда для разных товаропроизводителей совпадет с количеством общественно-необходимого труда в том смысле, как он определен в приведенной выше цитате из Маркса. При таких условиях, каждый товаропроизводитель выполнит определенную долю совокупного общественного труда и, благодаря признанию нами обмена равноценностей, получит за свои товары такое количество других товаров, которое соответствует количеству труда, им самим затраченному. Отдельные части нашей сложной общественной системы будут, таким образом, прилажены, пригнаны друг к другу, а сама система будет находиться в состоянии равновесия. Закон ценности выступит, таким образом, в качестве закона равновесия системы простого товарного производства.

Но товарное хозяйство есть хозяйство анархическое. Отдельные товаропроизводители данной отрасли, а стало-быть, вся отрасль в целом может произвести больше товаров, чем общество при данных условиях может поглотить. В таком случае отдельные товаропроизводители этой отрасли, обменивая свои продукты, вынуждены будут довольствоваться получением в качестве эквивалента такого количества товара, которое является носителем меньшего количества общественного труда, чем то, какое они внесли в фонд совокупного общественного труда. Наши товаропроизводители понесут тяжелый ущерб: их потребности будут удовлетворены хуже чем прежде, их хозяйства начнут слабеть и разрушаться. Словом, предположенное нами равновесие нарушится, и система в целом, по выражению Герцена, выйдет из пазов своих. Но в самом нарушении равновесия скрыта возможность его восстановления, ибо рынок, этот единственный регулятор анархического хозяйства, потребует перераспределения производительных сил общества. Часть средств производства и рабочей силы, функционировавший раньше в отрасли, представленной нашими неудачниками, будет перенесена в другие отрасли промышленности; равновесие восстановится, и закон ценности, к которому общественная система неизбежно приспособляется, опять будет действовать в чистом своем виде до тех пор, пока не наступит новое нарушение [1]).

---

[1]) „Различные сферы производства постоянно стремятся к равновесию, потому что, с одной стороны, каждый товаропроизводитель должен производить потребительную ценность, т.-е. удовлетворять определенной общественной потребности—при чем размеры

Для обмена равноценностями, т.-е. для того, чтобы закон ценностей проявлялся в своем чистом виде, Маркс считает необходимым, чтобы „товары производились с той и с другой стороны в относительных количествах, приблизительно соответствующих взаимной потребности в них“ [1]). Но что же произойдет, если общественно-необходимый в техническом смысле труд, затраченный на производство данного вида товаров, не будет соответствовать тому количеству труда, которое общество может дать в обмен за этот вид товаров? Совершенно очевидно, что мы будем иметь на рынке отклонение от закона ценности, которое, однако, со своей стороны, создаст тенденцию к установлению такого положения вещей, когда закон ценности вновь вступит в свои права. А если это так,—а по Марксу это безусловно так,—то авторы, толкующие понятие общественно-необходимого труда, как „общественную среднюю“, исходят в своем анализе не из случая равновесия, а из случая нарушенного равновесия. Но что сказали бы про физика, если бы он вздумал устанавливать закон равновесия тела в условиях, когда оно вверх тормашками стремительно летит вниз? Сам Маркс такого приема во всяком случае не одобрял. „Обмен или продажа товаров по ценности—писал он в III томе „Капитала“,—есть рациональный базис, естественный закон их равновесия; исходя из последнего, следует об'яснить отклонение, а не наоборот, из отклонений выводить самый закон“ [2]). Но именно это и делают Шрамм, Будин и Ко. Они берут случай, когда общество отдает за произведенный в данной отрасли товар меньший или больший ценностный эквивалент, они, другими словами, берут случай нарушенного равновесия и выводят отсюда „самый закон“...

Против понимания общественно-необходимого труда, как фактора,

---

этих потребностей количественно различны, и различные потребности внутренно связаны между собой в одну естественную систему,—с другой стороны, закон ценности товаров определяет, какую часть находящегося в распоряжении общества рабочего времени оно в состоянии затратить на производство каждого данного товарного вида. Однако эта постоянная тенденция различных сфер производства к равновесию обнаруживается лишь, как реакция против постоянного нарушения этого равновесия. Норма, применяемая при разделении труда внутри мастерской a priori планомерно, при разделении труда внутри общества действует лишь a posteriori, как внешняя слепая сила природы, которая подчиняет себе беспорядочный произвол товаропроизводителя и воспринимается только в виде барометрических колебаний рыночных „цен“ (Маркс, Капитал, т. I, стр. 321). Читатель, опасающийся слова „равновесие“, видит, что оно употребляется и таким ортодоксом, как сам Маркс. Сейчас мы еще раз будем иметь случай убедиться в этом.

[1]) К. Маркс. Капитал, т. III ч. I, стр. 153.

[2]) Там же, стр. 163. (В подлиннике изд. 1921 г. стр. 167. Сравнение с текстом как здесь, так и в приведенной выше цитате, показывает, что в превосходном переводе Базарова-Степанова нет никакой погрешности. Речь идет о „Gesetz des Gleichgewichts“). Для особенно придирчивых читателей считаю нужным заметить, что оперируя аналогиями, я вовсе не склонен „механизировать“ общественные явления и что я и Марксу не приписываю подобной попытки.

который связывается с общественными потребностями, т.-е. в конечном счете с „учением о редкости“, как справедливо замечает Микагашевский, остановимся на одном методологическом приеме Маркса, играющем решающую роль не только в его экономической, но и в его социологической системе. Я говорю о признании примата производства над всеми другими явлениями социальной жизни: и над распределением, и над обменом, и над общественным потреблением. Всякому, знакомому с работами Маркса, известно, конечно, что этот принцип лежит в основе всей его теоретической системы и что он всюду является руководящей нитью исследования для автора „Капитала“. В наиболее отчеканенной форме постулат примата производства был формулирован Марксом в его изумительном по глубине содержания „Введении к критике политической экономии“, найденном лишь два десятилетия тому назад в его бумагах. „Распределение—говорит Маркс—в самом поверхностном понимании представляется“ как распределение продуктов и, таким образом, далеко отстоящим от производства и, якобы, по отношению к нему самостоятельным. Однако, прежде чем распределение становится распределением продуктов, оно есть: 1) распределение орудий производства и 2)—что представляет собою дальнейшее определение того же отношения—распределение членов общества по разным родам производства... Распределение продуктов есть, очевидно, результат этого распределения, которое включено в самый процесс производства и которое обусловливает организацию этого последнего“... [1]). Аналогичное рассуждение относится к обмену. „Обмен,—говорит Маркс,—является независимым и индифферентным по отношению к производству только в последней стадии, когда продукт непосредственно обменивается для потребления. Однако: 1) не существует обмена без разделения труда, будь последний результатом естественных или исторических условий, 2) частный обмен предполагает частное производство, 3) интенсивность обмена, его распространение, так же, как) и его форма, определяется развитием и структурой производства... Обмен, таким образом, во всех своих моментах или непосредственно заключен в производстве, или определяется этим последним“. Такова же точка зрения Маркса и на потребление, что особенно важно для разбираемого нами вопроса. „Производство создает потребление, 1) производя для него материал, 2) определяя способ потребления, 3) тем, что возбуждает в потребителе потребность, предметом которой является созданный им (производством) продукт“. И далее,

---

[1]) К. Маркс. Введение к критике политической экономии. См. „Основные проб-
[illegible]

как резюме всего сказанного: „Результат, к которому мы пришли, заключается не в том, что производство, распределение, обмен и потребление—одно и то же, но что все они образуют собою части целого, различия внутри единства. Производство в противоположности своих определений охватывает как само себя, так и остальные моменты... Что обмен и потребление не имеют господствующего значения, это ясно само собой. То же самое приложимо и к распределению продуктов. Но в качестве распределения агентов производства, оно само есть момент производства" и т. д.[1]),

Насчет производного характера размеров общественных потребностей Маркс высказывается неоднократно и в III томе „Капитала", в особенности в главе, где он рассматривает рыночные цены и рыночные ценности; с изменением рыночной ценности, которая по Марксу, как мы увидим ниже, определяется общественно-необходимым рабочим временем в техническом смысле, происходит и изменение общественной потребности, под которой автор „Капитала" разумеет, конечно, потребность платежеспособную. „При падении рыночной ценности, общественная потребность в среднем расширяется и в известных границах может поглотить более значительные массы товаров. При повышении рыночных ценностей, общественная потребность в товарах сокращается и поглощает меньшие массы их"[2]). Далее Маркс „совсем мимоходом" замечает, что общественная потребность, которая регулирует „принцип спроса, существенно обусловливается отношением различных классов друг к другу и их взаимным экономическим положением, а следовательно, во-первых отношением всей прибавочной ценности к заработной плате (т.-е. общественной нормой прибавочной ценности. Ш. Д.) и, во-вторых, отношением различных частей, на которые распадается прибавочная ценность (прибыль, процент, земельная рента, налоги и т. п.). Таким образом, здесь обнаруживается, что отношение спроса и предложения (которое есть по существу общественная потребность. Ш. Д.) абсолютно ничего не в состоянии объяснить, пока не раскрыт базис, на котором покоится само это отношение"[3]). Но базис этот лежит в области производства. и общественная потребность, поэтому, обусловлена категориями цен-

---

[1]) Там же, стр. 23.

[2]) К. Маркс. Капитал, т. III, ч. 1, стр. 156.

[3]) Там же, стр. 156—157. Курс. мой. Ш. Д. В другом месте мы читаем: „Дело принимает такой вид, как будто на стороне спроса есть определенная общественная потребность данных размеров, которая требует для своего покрытия наличности определенного количества продукта на рынке. Но количественная определенность этой потребности во всяком случае эластична и неподвижна (Курс. мой. Ш. Д.). Она только кажется фиксированной. Если бы средства существования были дешевле и денежная заработная плата была выше, то рабочие покупали бы больше, и таким

ностными. Но если это так, если размер общественной потребности находится в функциональной зависимости от ценности, то как же, спрашивается, можно выставлять общественную потребность как фактор, образующий ценность? Всякому человеку, способному логически мыслить, должно быть совершенно ясно, что подобный прием неизбежно приводит к такому порочному кругу, из которого не выпутаешься ни при каких ухищрениях. Таким образом, изложенная выше теория общественно-необходимого труда есть не что иное, как известная сказка про белого бычка.

Величину рыночной ценности Маркс, как мы уже вскользь заметили, определяет в полном согласии с цитатой, приведенной нами в начале статьи. Единственно решающим моментом и здесь является технически необходимое рабочее время. „Между количеством товаров, находящихся на рынке, и рыночной ценностью этих товаров существует лишь следующая зависимость: при данном уровне производительности труда в каждой данной сфере производства для изготовления товаров требуется определенное количество общественного рабочего времени, хотя в различных сферах производства отношение это, конечно, различно и не стоит ни в какой внутренней связи с полезностью данного товара или специфической природой его потребительной ценности“ [1]). Чтобы не возбуждать в читателе никаких сомнений на счет роли количества товара при определении совокупной ценности продуктов производства целой отрасли промышленности и подчеркнуть, что „общественная потребность“ здесь никакой роли не играет, Маркс прямо заявляет, что если a единиц данного товара стоят b, то n единиц будет стоить nb. Но Маркс, конечно, отнюдь не предполагает, что товар при всяких условиях будет продан „по его рыночной ценности, т.-е. по цене, пропорциональной заключающемуся в нем общественно-необходимому труду“. Для того, чтобы последнее имело место, необходимо, чтобы все количество общественного труда, затраченного на производство данного вида товаров, соответствовало величине платежеспособной потребности в них. Но что же произойдет, если это условие не будет иметь места. Совершенно очевидно, что мы при реализации соответствующих товаров на рынке будем иметь дело с отклонением рыночной цены от ценности: „Раз определенный товар произведен в количестве, достаточно превышающем общественную потребность, часть общественного рабочего времени оказывается растраченной попусту, и вся масса товаров представляет тогда на рынке гораздо меньшее количество общественного труда, чем то, которое в нем действительно заключается... Поэтому эти товары должны быть уступлены ниже их рыночной ценности, а часть их и вовсе не может найти покупате-

лей"[1]). Заметим, что Маркс, в отличие от Шрамма, Франка и проч., вовсе не утверждает, что сама ценность товара уменьшится от недостаточной „общественной потребности", он говорит только, что эта ценность будет реализована на рынке лишь отчасти, и что перед нами будет случай потери части ценности, воплощенной в товарах рассматриваемого вида.

Все это с очевидностью показывает, что понятие общественно-необходимого труда можно толковать только, как „техническую среднюю". Но если это так, то чем же об'яснить, что целый ряд авторов, среди которых есть люди, настроенные по отношению к Марксу весьма „дружелюбно", упорно пытаются легальным путем ввести в его учение о ценности момент общественных потребностей? Татьяна Григорович и совершенно справедливо замечает, что Маркс сам подал к этому повод, употребляя интересующее нас понятие в двух смыслах [2]). Что это именно так, показывает, как мы увидим, пример г. Франка, который, к сожалению, остался неизвестным Татьяне Григорович и.

Маркс многократно повторяет ту мысль, что продукты различных отраслей продаются по их ценностям, если общественный труд распределен в известной пропорции. Говорит он об этом и во второй части III тома „Капитала", в „предварительных замечаниях" о ренте. Развивая эту мысль, он пишет: „Если потребительная ценность отдельного товара зависит от того, удовлетворяет ли он сам по себе какую-нибудь потребность, то потребительная ценность известной массы общественных продуктов зависит от того, адэкватна ли она количественно определенной общественной потребности в продукте каждого особого товара и, следовательно, от того, пропорционально ли, в соответствии с этой общественной, количественно определенной потребностью распределен труд между различными сферами производства... Общественная потребность, т.-е. потребительная ценность в общественном масштабе, — вот что определяет здесь количества всего общественного рабочего времени, приходящиеся на различные особые сферы производства". И несколькими строками дальше: „Пусть, например, бумажных тканей произведено непропорционально много, хотя во всем этом продукте, в этих тканях, реализовано лишь необходимое для этого, при данных условиях, рабочее время. Но вообще-то на эту особую отрасль затрачено слишком много общественного труда; т.-е. часть продукта бесполезна. Поэтому, весь продукт удастся продать так, как

---

1) Там же, стр. 163. Курсивы мои. Ш. Д.

2) Tatiana Grigorovici, указ. раб., стр. 44. Усиленно рекомендую эту книжку для про-

если бы он был произведен в необходимой пропорции. Эта количественная граница тех количеств общественного рабочего времени, которые можно целесообразно затратить на различные особые сферы производства, есть лишь более развитое выражение закона ценности вообще; хотя необходимое рабочее время содержит здесь иной смысл" [1]).

Я сделал длинную выписку только потому, что г. Франк считает ее, повидимому, лучшим козырем для своей аргументации. Но чем эта цитата отличается от положений, высказанных Марксом в других местах? Ведь мы здесь же (в пропущенных мною строках) находим недвусмысленное утверждение, что „при нарушении пропорции не может быть реализована ценность товара", или, другими словами, что рыночные цены отклонятся от ценности. Несомненно, что решающую роль для г. Франка сыграло здесь то обстоятельство, что Маркс употребляет понятие общественный труд в двух различных смыслах,—факт, который он сам же и подчеркивает.

Но, может быть, сторонники Шрамма правы в том слысле, что при расширении производства сверх „потребности" сумма рыночных цен продуктов данной отрасли промышленности совпадет с ценностью, которое общество в состоянии было затратить, когда эта отрасль работала в надлежащей пропорции? Пусть, например, вместо 1 миллиона аршин шелковых тканей, соответствующих „общественной потребности" и поглотивших для своего изготовления 6 миллионов часов рабочего времени, произведено 2 мил. аршин, потребовавших 12 мил. часов. Значит ли это, как думает Шрамм, что 12 мил. аршин будут выменены на эквивалент, соответствующий 6 мил. часов, или, другими словами, упадет ли цена шелка ровно вдвое? Не подлежит сомнению, что цена шелка даже при неизменных технических условиях производства начнет падать. Но если цена шелка понизится, скажем, на 20—25%, то многие покупатели сочтут для себя более целесообразным потреблять шелковые ткани в тех случаях, где они раньше потребляли полотно или тонкие хлопчато-бумажные изделия. Таким образом самый факт падения цен даже при неизменной покупательной способности общества вызовет расширение платеже-способного спроса на шелк за счет сокращения спроса на полотно и хлопчато-бумажные ткани. Общество, стало-быть, сможет ассигновать на покупку шелковых тканей не 6 миллионов часов, как думает Шрамм, а, может быть, целых 8—9 миллионов. А если это так, то сторонники „общественно-потребительной средней" неправы не только в своем толковании теории ценности Маркса, но и в установлении закона рыночных цен.

Ш. Дволайцкий.

* * * * * *

Критика „критиков“ *).

Месяца два тому назад вышла в свет интересная книга: „Теория Исторического Материализма“ т. Бухарина.

Книга интересна с трех точек зрения.

До сих пор, кроме Куновской „Die Marxsche Geschichts-, Gesellschafts- und Staats- Teorie“, не переведенной на русский язык и глубоко реформистской по своему существу, у нас не было работы, где бы систематически, не в полемической, а в позитивной форме была изложена целиком марксистская система учений об обществе.

Поэтому, если бы даже книга т. Бухарина представляла собою простую сводку, изложение мыслей основоположников марксизма, она и в этом случае заслуживала бы самого напряженного внимания, самого горячего приема.

Однако Н. И. не ограничивается простым изложением: целый ряд вопросов марксистской социологии получает в работе т. Бухарина совершенно новое освещение, целому ряду проблем дается оригинальная трактовка. Это может резко увеличить интерес к книге. Наконец — выпуском книги преследовалась цель дать учебник марксистской социологии для наших партийных школ. Появление книги и с этой точки зрения представляет собою целое литературное событие.

Уже сказанного достаточно, чтобы представить то значение, которое имеет книга для марксистского лагеря, вообще, и в частности—для нашей партии, чтобы понять, с какой вдумчивостью и осторожностью нужно подходить к ее критике.

Этих качеств далеко не проявили тт. Сарабьянов и Гоникман, критические статьи которых нашли себе место в № 3 журнала „Под Знаменем Марксизма“. Статьи эти были помещены, правда, в дискуссионном порядке, однако непозволительная манера критики и самодовольно—презрительный тон статей заставляют нас думать, что их ни в каком порядке помещать не следовало.

Статьи уже появились, и нам остается только заняться довольно скучным делом, — придется отвечать на статьи тт. Сарабьянова и Гоникмана.

„Горячая кровь“ губит т. Сарабьянова. Он бросается в бой по каждому нужному и ненужному поводу. Бросается ослепленный, не отличая друзей от врагов, не видя противника, не видя цели. Удивительно ли, что удары его попадают в воздух? Я внимательно дважды перечел статью т. Сарабьянова, я вникал в каждое слово с надеждой понять, чего он хочет, чего добивается. Безнадежно!

---

*) [illegible]

Попробуйте составить тезисы статьи. Что получается? Ряд разрозненных, ничем между собою несвязанных мелких указаний, на манер списка опечаток, и положений, подчас прямо противоречивых, так на стр. 63 Сарабьянов заявляет, что „мышление“ Бухарина „материалистично в духе Бюхнера“, а на стр. 76 ставит знак тожества между бухаринской социологией и организационной наукой „идеалиста диалектика“ Богданова. Сарабьянов, очевидно полагает, что такое „противоречие“ тоже является основой диалектики.

Однако попробуем разобрать главнейшие из указаний т. Сарабьянова (возражениями, пожалуй, и сам т. Сарабьянов не решится их назвать).

Книга т. Бухарина имеет подзаголовок: „Учебник марксистской социологии“. Этого достаточно, чтобы т. Сарабьянов „ринулся в атаку“.

Сарабьянов не признает социологии. По его мнению социология, как наука, может иметь право на существование только в том случае, „если все в мире развивается только в пределах данного раз навсегда качества“. Только в этом случае можно было бы задаваться вопросом: „отчего зависит развитие общества или его гибель? В каком отношении друг к другу находятся хозяйство, право, наука, религия, нравственность и т. д.? Чем об'ясняется развитие перечисленных рядов общественных явлений“?

„Но вот, если качество, через количественные изменения, превращается в новое качество, то ответов будет столько, сколько общество пережило качеств, а потому и социология превращается в ряд социологий“.

Т. Сарабьянов утверждает, что Бухарин именно потому и может говорить о социологии, как науке, что весь он находится во власти формальной логики, что „весь учебник Бухарина проникнут духом силлогизма“.

Прежде всего интересно сопоставить такую точку зрения, со взглядом Плеханова. Плеханов на 71 стр. „Основных вопросов“ [1]) пишет: „очень характерно то обстоятельство, что последовательные противники материалистического об'яснения истории [2]) видят себя вынужденными доказывать невозможность [3]) социологии, как науки [3]), это значит, что „критицизм“ становится теперь [3]) препятствием для дальнейшего научного развития нашего времени [3])“.

А теперь рассмотрим вопрос по существу.

Сначала рассмотрим действительно ли Бухарин игнорировал исторически-ограниченный характер категорий общественного порядка? Открываем разбираемую книгу на стр. 70 и находим „Общественная жизнь испытывает, как и все в природе, непрерывное изменение. Так человеческое общество переживает различные ступени, различные формы своего развития или упадка.

Отсюда вытекает: во первых нужно каждую такую форму общества понять и исследовать в ее своеобразии [4]) Это значит: нечего стричь под одну гребенку все эпохи, все времена, все общественные формы,“ и далее: „В каждом строе есть особые черты, которые и нужно изучить. Только тогда мы и поймем процесс изменения. Ибо, если у каждой формы есть особые черты, значит

---

[1]) Изд. В. Ц. И. К. Москва, 1918 г.
[2]) Курсив мой.
[3]) Курсив Плеханова.
[4]) Курсив Бухарина.

есть и свои особые законы развития, законы движения этой формы.

Мы видим, что Бухарину не хуже, чем Сарабьянову, известна первая глава второй части „Анти Дюринга". Цитированные места проникнуты духом неподдельной диалектики. О формальной логике здесь не может быть и речи.

Зато Бухарину, очевидно, гораздо лучше, чем Сарабьянову, знаком марксовский „Einleitung".

В первой главе „Введения в критику политической экономии" Маркс пишет: „Может поэтому казаться, что для того, чтобы вообще говорить о производстве мы должны либо заняться исследованием исторического процесса развития в его различных фазах, либо с самого начала заявить, что мы имеем дело с определенной исторической эпохой, например с современным буржуазным производством, которое, собственно, и является фактически нашей темой. Однако, всем эпохам производства свойственны некоторые общие признаки, некоторые общие определения. Производство в общем—это абстракция, но абстракция имеющая смысл поскольку она, дествительно, выдвигает общее, фиксирует его и тем избавляет нас от повторений. Кроме того, это общее и сходное, выделенное путем сравнения, само является многократно расчлененным и содержит в себе различные определения. Одни относятся ко всем эпохам, другие общи лишь некоторым. Одни определения являются общими для современной и для древнейшей эпохи и без них невозможно мыслить себе производство [1]).

Товарищу Сарабьянову остается только заявить, что Маркс тоже находится во власти формальной логики, и мы будем вполне удовлетворены.

Есть целый ряд положений исторического материализма, без которых сам исторический материализм теряет всякий смысл, которые безусловно носят социологический характер (как, впрочем, и все положения исторического материализма) и безусловно относятся ко всем ступеням общественного развития.

„Сознание определяется бытием" только в капиталистическом обществе или во всяком, товарищ Сарабьянов?

Учение о базе и надстройках сохраняет силу только для менового общества или для всякого?

Таких вопросов товарищу Сарабьянову можно предложить без числа, при чем на каждый из этих вопросов он будет вынужден ответить коротким, но убивающим его словом—„всегда".

Мыслите-ли вы, т. Сарабьянов, изложение теории исторического материализма без этих положений, относящихся ко всем ступеням общественного развития? А если не мыслите, то вы уже тем самым признаете, во-первых, что в об'ем исторического материализма входит целый ряд положений, отвечающих на вопросы, самую возможность постановки которых вы отрицаете; во-вторых, что во всех эпохах, на всех ступенях общественного развития есть материал для единой науки—социологии.

Если Бухарин, действительно, игнорировал историческую ограниченность категорий социального порядка, то Сарабьянову, конечно, не стоило бы большого труда указать в книге места, которые сви-

[1]) Курсив мой. Цитирую по переводу т. Е. Пашуканис. Сборник Основн. Проблемы полит. эк. под ред. Дволайцкого и Рубина. Москва, Гос. Изд. 1922 стр. 7.

детельствовали бы о том, что Бухарин возвел какое нибудь положение, относящееся только к одной эпохе, в высокий сан „естественного закона". Этим Сарабьянов, действительно, „поддел бы" Бухарина. Однако Сарабьянов, проповедующий конкретность мышления, такого места в книге Бухарина не указал и указать не сможет, ибо такого места нет.

А без этого критика Сарабьянова теряет всякий смысл, превращается в бесплодное сотрясание воздуха.

Мы видим, что за голым нанизыванием слов у т. Сарабьянова не кроется никакой конкретной мысли.

В таком же стиле построены все его „возражения": говорит человек, и говорит много, наводит туман, нанизывает строки. Кажется так много сказано, а копнешь слегка и видишь, что не сказано решительно ничего, что изливается автор только потому, что ему нравится самый процесс нанизывания слов. Сарабьянов пишет так же, как читал гоголевский Петрушка.

К вопросу о соотношении базы и надстроек т. Бухарин в своей книге возвращается несколько раз:

На стр. 62 он пишет: „Духовная жизнь общества есть, выражаясь по-ученому, функция производительных сил.

На стр. 131—132: „При рассмотрении общества, условий его развития, его форм, его содержания и проч. нужно начинать это рассмотрение с анализа производительных сил или с технической основы общества".

На стр. 164 словами Маркса, Бухарин подытоживает свои выводы. „Общественные отношения производителей,-пишет он, общественные соотношения производства меняются, следовательно, с изменением и развитием материальных средств производства, т.-е. производительных сил".

Далее на стр. 172: Социально-политическая надстройка „определяется классовым строением общества, которое, в свою очередь, зависит от производительных сил, т.-е. от общественной техники".

На стр. 193: „Самое происхождение религии показывает, что она возникала, как отображение производственных отношений (именно тех из них, где налицо господство—подчинение) и обусловливаемого ими политического строя".

На стр. 224: „На разные манеры, прямо или косвенно, непосредственно или через многочисленные промежуточные звенья, искусство определяется и притом с разных сторон—экономическим строем и уровнем общественной техники".

Наконец, на стр. 238, в качестве итога главы, Бухарин приводит знаменитый отрывок из Маркса: „В общественном отправлении своей жизни люди вступают в определенные, от их воли не зависящие отношения—производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производственных сил. Совокупность этих производственных отношений образует экономическую структуру общества, реальное основание, на котором возвышается правовая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обуславливает собой процесс жизни социальной, политической и духовной вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а на-

оборот, их общественное бытие определяет их сознание [1])".

Я привел несколько цитат, в качестве образчиков бухаринской трактовки вопроса о соотношении базиса и надстроек. Фактически этому вопросу посвящены сплошь несколько параграфов книги. Уже приведенных цитат оказывается совершенно достаточным, чтобы устранить всякую возможность сомнений в ортодоксальности Бухарина в разбираемом вопросе. Однако Сарабьянов и здесь ухитряется зацепиться и назвать бухаринскую трактовку вопроса „эклектической похлебкой".

Какие основания? спрашивает читатель. Чтобы привести, хоть какое нибудь основания, Сарабьянов „не поленился переписать полстраницы из „социологии" т. Бухарина".

Эти полстраницы заканчиваются словами: „Почему вообще в „цивилизованном" обществе люди чрезвычайно много думают и надумали целые горы книг и прочли, а у дикарей этого нет? Об'яснение мы находим в материальных условиях жизни общества"; т. Сарабьянов подцепил словцо „Материальные условия жизни общества" и ликует: „духовная жизнь общества оказывается функцией нескольких переменных, т.-е. „материальных условий жизни общества". Он готов „предположить, что, по т. Бухарину, производительные силы и являются материальными условиями жизни общества", и злорадствует: мы „попадем в столь не марксистскую социологию, что и сам т. Бухарин от нее открестится и двумя и тремя перстами".

Не по коню, а по оглобле, бьете, т. Сарабьянов!

Конечно, Бухарин открестится от такой социологии, конечно в ней нет ни элемента марксизма, однако она не имеет также решительно ничего общего и с социологией Бухарина. Не Бухарин, а вы, товарищ Сарабьянов, „упрощаете Маркс-Энгельсовский материализм, к тому же изрядно напутавши." Действительно: почему т. Сарабьянов решил, что под вывеской „материальных условий жизни общества" кроются производительные силы?

Если бы он усвоил сущность марксизма, он, конечно, предположил бы, что „материальные условия жизни общества" в глазах Бухарина тождественны с экономической структурой общества, но, даже оставаясь собою, Сарабьянов мог понять это. Стоило ему только вдуматься в слова Маркса, которые мы только что привели, и он бы, конечно обратил внимание на то, что, по мнению маркса, „определенные формы общественного сознания" соответствуют „экономической структуре общества". Именно экономическая структура общества для Маркса являлась основанием общественного сознания.

Тем самым, что вы, т. Сарабьянов, заподозрели за материальными условиями существования производительные силы, вы, во-первых, превратили Бухаринскую социологию в такую социологию, от которой сам Бухарин открестится, а, во-вторых, вы показали, что искали корня общественного сознания непосредственно в производительных силах, а такая трактовка вопроса является несомненным упрощением по сравнению, как с трактовкой Маркса, так и с совпадающей с нею трактовкой т. Бухарина.

Самый же термин: „материальные условия жизни общества" легализован и раз'яснен самим Марксом, который в предисловии к Критике" его определенно употребляет: „Правовые отношения, наравне с формами государства,—говорит он,—не могут быть поняты ни из са-

[1]) Всюду курсив Бухарина.

них себя, ни из так называемого общего развития человеческого духа, но скорее коренятся в материальных условиях жизни, совокупность которых Гегель, по примеру англичан и французов XVIII ст., назвал „буржуазным обществом"[1]) и что анатомию буржуазного общества нужно искать в политической экономии".

Самое указание Маркса на то, что „анатомию" гражданского общества нужно искать в полит. экономии, вполне ясно показывает, что он подразумевал под „материальными условиями существования". Маркс имел в виду именно совокупность производительных сил и производственных отношений. То же самое, очевидно, имеет в виду и тов. Бухарин.

Курьез усугубляется тем, что т. Сарабьянов сам вспомнил приводимую нами цитату из Маркса. И вот, чтобы как-нибудь связать концы с концами, он начинает говорить фразы, которых ни читатель, ни сам т. Сарабьянов понять не могут.

„Сравнивая, я нашел в чем дело. Он начал с того, чем Маркс закончил. В этом и обнаруживается, что Бухарин не продумал и вообще не думал, что значит „материя" и „дух" в применении к обществу. Если Маркс говорит в предисловии о материальных производительных силах, то это отнюдь не значит, что в этом заключается материализм целиком"[2]) В чем дело? Откуда следует, что Бухарин ограничивает содержание материализма указанием на материальные производительные силы? Ни из цитат, приведенных Сарабьяновым, ни из каких-либо других мест книги, ни из общего ее содержания такое заключение не вытекает ни в какой мере.

Напротив того—из всего сказанного выше явствует со всею очевидностью, что трактовка исторического материализма Бухарина гораздо сложнее и правильнее упрощенных Сарабьяновских положений.

Но Сарабьянов продолжает напускать туман, „делая вид" будто за его словами, действительно, кроется какая-то серьезная критика.

Приписав, как мы видели, Бухарину мысль, которой тот не высказывал, Сарабьянов, со всем свойственным ему пылом, начинает эту мысль громить.

„Для Маркса и базис и надстройка гражданского общества в лице общественных отношений суть материя, бытие, отражение же этих отношений (к природе и людям) в человеческих головах есть дух, сознание".

Именно, именно, т. Сарабьянов! Бухарин так и говорит. Посвятив две с половиной страницы (95—98) специально доказательству того положения, что общественные отношения глубоко материальны, т. Бухарин пишет:

„Бесконечно разнообразные, сложные, необычайно богатые, блещущие всеми цветами радуги духовные узоры тех психических взаимодействий, которые составляют „дух" современного общества, имеют и свое „тело", без которого они не могут существовать так же, как не может существовать „дух" отдельного человека без его грешной и бренной плоти. И этим „телом" является трудовой остов, система материальных отношений между людьми в процессе труда или, как их называет Маркс, производственных отношений[3])"

Бухарин-то понимает, а вот т. Сарабьянов это иногда забывает,

---

[1]) В других переводах—„Гражданским обществом." Цитирую по Изд. Сотрудник Петр. 1918 стр. XII. Курсив мой.

[2]) Курсив Сарабьянова.

[3]) Курсив Бухарина.

иначе он не обвинял бы Николая Ивановича в том, что тот подменил термином „материальные условия“ термин „производительные силы“

Бухарин пишет: „Мы подошли здесь уже к более подробному рассмотрению значения всяких надстроек, в том числе и идеологий“. Сарабьянов становится на дыбы—Бухарин причислил идеологию к надстройкам! Сарабьянов нашел даже корень этой неисправимой ошибки. Бухарин, видите ли, не задумался „над этим все расшифровывающим словом: „анатомия“ (гражданского общества)“

На этот упрек мы не можем реагировать собственными словами, когда есть удачнейшая фраза Сарабьянова, как нарочно придуманная для этого случая:

„Жаль только, что новое поколение еще не начало всерьез изучать Плеханова, а старое—в некоторой части уже позабыло его“.

К которой из этих двух категорий причисляете вы себя, тов. Сарабьянов?—Ведь Плеханов в „основных вопросах“ совершенно отчетливо употребляет выражение „целая надстройка общественных отношений, чувств и понятий“[1])

Не менее отчетливо Каутский в „Анти-Бернштейне“ говорит о „политических и идеологических надстройках“[2])

Мы-то, бедные, считали Плеханова и Каутского, с давних времен, крупными теоретиками марксизма и лучшими истолкователями Маркса и Энгельса, а они-то, оказывается, вместе с Бухариным, не вдумались в текст такой основной работы Маркса, как „Предисловие к критике“, не поняли основных элементов марксизма!

Ну как не быть благодарным товарищу Сарабьянову, который снимает маски и ниспровергает богов?

Да что Плеханов и Каутский? „И на старуху бывает проруха“—Сам Маркс не выдержал экзамена т. Сарабьянова.

„На различных формах общественности, на общественных условиях существования возвышается целая надстройка различных своеобразных чувств и иллюзий, взглядов и понятий“, говорит он.

Вы смущены? Я тоже. Не смущен только т. Сарабьянов. С той же уверенностью он продолжает:

„Маркс различает надстройки от надстроек. В одном случае (Предисловие к „Критике“) он берет общество, как материальное целое и, изучая анатомию этой материи, определяет, что в ней базис (производственные отношения и соответствующие им материальные производственные силы[3]), в другом же случае он берет общество, как материю, имеющую свойство мыслить, сознавать, познавать etc. и все эти „своеобразные чувства и иллюзии, взгляды и понятия“ определяет, как надстройку (сознание) над отношениями людей к природе и друг к другу“

Все это верно, однако вы, т. Сарабьянов, сейчас признаете, что Маркс, под тем или иным видом, относит идеологию к надстройкам. То же делают Плеханов и Каутский. А на двадцать строк выше вы заявили, что только недостаточной вдумчивостью т. Бухарина можно об'яснить тот факт, что он отнес идеологию к надстройкам. Вы чрезвычайно последовательны т. Сарабьянов!

---

1) Г. В. Плеханов „Осн. вопр. Маркс.“ Изд. В.Ц.И.К. Москва стр. 42, курсив мой.

2) К. Каутский к критике Марксизма Моск. Отд. Изд. 1922 г. стр. 21. Цитирую в другом падеже. Курсив мой.

3) Если бы мы захотели спорить „в стиле т. Сарабьянова“, мы непременно задали бы Сарабьянову вопрос, что чему соответствует: материальные производительные силы—производственным отношениям или, наоборот,—производственные отношения—производительным силам.

Что же касается вопроса о том, можно ли надстройки разных типов забирать за одни скобки, то вы, т. Сарабьянов, нашли уже на него ответ в приведенных мною цитатах из Каутского и Плеханова.

Мысль, высказанная Сарабьяновым в приведенных строках, по существу верна, однако ее Сарабьянов вычитал у... того же Бухарина в VI-ой главе его книги.

Николай Иванович в свое время показал, что Сарабьянов в спорах „бьет челом нашим же добром"[1]). Сарабьянов неисправим.

И не надо думать, что это случайное недоразумение, что Сарабьянов просто не вспомнил, что мысль, которую он настойчиво рекомендует противнику, этим самым противником уже давно высказана. Нет это—система, метод спора.

Возьмем для примера еще хотя бы вопрос о детерминизме. Тов. Бухарин на стр. 37 пишет:

„В неорганизованном обществе, как и во всяком обществе, события совершаются не помимо, а через волю людей. Но здесь над отдельным человеком господствует бессознательная стихия, которая является продуктом отдельных воль[2])" „После того, как получился тот или иной общественный результат отдельных воль, этот общественный результат определяет поведение отдельного человека[3]). Это положение необходимо подчеркнуть, так как оно очень важно"[3])

На странице 3 он формулирует ту же мысль следующими словами:

„1) Общественные явления получаются из скрещивания индивидуальных воль, чувств, действий.

2) Общественные явления определяют собою в каждый данный момент волю отдельных людей.

3) Общественные явления не выражают воли отдельных людей, обычно идут в разрез с этой волей, принудительно господствуют над ней, так, что отдельный человек часто чувствует на себе давление общественной стихии"[4])

Далее на стр. 60 Бухарин ссылается на эти места:

„ Мы видели еще при рассмотрении вопроса о детерминизме, что воля человека вовсе не свободна, что она определяется внешними условиями существования человека".

Сарабьянов приведя последнюю цитату из Бухарина заявляет:

„ Нет т. Бухарин, совсем не так! Пределы свободы человеческой воли определяются не только внешними условиями существования человека, но и самим человеком и его собственной волей"

Это как же прикажете понимать? Если вы хотите сказать, что воля отдельного человека входит как составная часть в „результанту" общественных воль, ее ограничивающую, то ведь именно эта мысль высказана т. Бухариным. А ведь иначе понять вас не следует?

Или еще пример.

На беглое замечание т. Бухарина, что „по Канту об'ективный мир существует (вещь в себе), но он непознаваем и обладает не материальной природой", Сарабьянов, возражает: „Кант... признавал вещь в себе материальной, хотя, как правильно говорит Плеханов,

---

1) См. спор в № 1 и 2 Красной Нови.

2) Курсив мой.

3) Курсив Бухарина.

4) Курсив Бухарина.

„далеко не был чужд склонности признавать эти вещи чем-то не материальным". Товарищ Сарабьянов, вы неподражаемы. Ради бога, укажите мне хоть какую-нибудь разницу в содержании между мнением Плеханова, которое вы выдвигаете против Бухарина, и взглядом самого Бухарина.

В разобранной „критике" сказался весь т. Сарабьянов. Однако несомненным перлом всей статьи является такая милая выходка— т. Сарабьянов упрекает Бухарина:

„Вопрос о социологии, как особой науке—не маленький вопрос и, уже во всяком случае, дискуссионный. Между тем т. Бухарин в своем учебнике отделывается от него двумя страничками и легковесной мотивировкой, даже не рассказав своим „ученикам" истории „социологии", как науки и истории пресловутой „истории" (тоже наука?), с которой он оперирует в серьез, но, будем надеяться, не на долго"

Но послушайте, Владимир Николаевич, ведь если „вопрос о социологии, как науке—не маленький вопрос", то вопрос о истории, как науке вопрос—не меньший. Если Бухарину нельзя разделываться с таким вопросом двумя страничками, то вам-то разделываться с историей двумя словами в буквальном смысле (тоже наука) ведь совсем неловко.

В таком же духе еще одна выходка, ярко характеризующая, как сарабьяновскую манеру писать, так и обоснованность его заключений: „Кунов-Степановщина (та же богдановщина) в плоскости религиозных вопросов заняла президентский пост",—пишет он.

С каких это пор, т. Сарабьянов, появился термин: „степановщина" и когда он стал синонимом „богдановщина"?

Для того, чтобы быть марксистом, товарищ Сарабьянов, нужно прежде всего уметь диалектически мыслить. Для того, чтобы быть журналистом, нужно уметь держать себя в рамках приличия.

„Марксистского сердца и горячей крови диалектика" здесь недостаточно, нужно иметь и еще кое-что.

Перейдем, однако, к основному вопросу „критики", к проблеме равновесия. Здесь мы будем иметь дело уже не с одним, а с двумя противниками.

О теории. которая, безусловно, является „гвоздем" книги, наши „критики" отзываются следующим скромным образом.

Сарабьянов: „Силлогистический склад ума приводит т. Бухарина в область бесплодных арифметических выкладок, типичнейшей из которых несомненно является его теория о „равновесии" общества. Кому она нужна? Оружием чего она будет служить? Голая арифметика из отдела пропорций".

Гоникман: „Механический метод т. Бухарина ничего общего с диалектикой Маркса и Энгельса не имеет".

Давайте разберемся.

Совершенно ясно, что корни этих отзывов лежат в упрощенном понимании категории „система".

Мне припоминается один диспут, на котором т. Сарабьянов, со всей свойственной ему горячностью, доказывал, что мировое хозяйство представляет собою сумму, а не совокупность „национальных" хозяйств, его образующих.

Если не отличать понятия суммы (арифметической) от понятия „система", „совокупность", то, конечно, взаимоотношение частей всякой системы представляется „голой арифметикой из отдела

пропорций". Однако, между арифметической суммой и системой есть громадная разница (виноват, виноват, т. Сарабьянов—не разница, а различие). И эта разница состоит в том, что между отдельными элементами, образующими систему, существует функциональная зависимость.

Арифметика не знает функциональной зависимости и, поскольку мы здесь с этой зависимостью сталкиваемся, из области арифметики мы выходим. Функциональная зависимость есть принадлежность движения. Поэтому, если мы и находимся в области математики, то, во всяком случае—математики диалектической. „Математика, занимаясь величинами переменными, вступает в диалектическую область", говорит... Энгельс [1]).

Если бы мы даже оставались в области чистейшей математики, это все же не помешало бы нам уловить все тончайшие изгибы диалектики.

Однако мы не любим „заумственных" сфер и потому предпочитаем вернуться к знакомой, родной сердцу [2]) т. Сарабьянова материи.

Зависимость между отдельными элементами материальной системы отнюдь не является зависимостью теоретической, мнимой. Зависимость эта сказывается в изменениях материи, а где изменяется материя, там имеют место вполне материальные силы.

Элементы нашей системы оказываются связанными между собою целой сетью материальных сил, направленных, естественно, в различные стороны.

Каковы эти силы? Силы эти могут быть и физического, и химического и биологического, и социального порядка. Это для нас не важно. Важно же то, что силы эти реальны, материальны и направлены в различные стороны.

Могут ли такие силы уживаться в одной системе, если между ними не будет определенного равновесия?

Ясно для каждого, что не могут. Они взорвут эту систему, разнесут ее на куски и, в лучшем случае, к утешению т. Сарабьянова, превратят ее в арифметическую сумму.

Однако целый ряд систем все же существует и существует длительно. Если они существуют, значит, могут существовать, а это мыслимо только в том случае, если внутри них существует определенное равновесие. Но тут с улыбкой, полной злорадства, появляется тов. Гоникман и задает „каверзный" вопрос: „как?! Вы говорите о механическом столкновении разных сил?"

Нам хотелось бы ответить т. Гоникману вопросом на вопрос: что понимает т. Гоникман под словом „механическое столкновение"? Разве не все отрасли природы подвержены законам диалектического развития? Разве механика находится на положении пария и к ней следует подходить с меркой формальной логики? Простите, пожалуйста, ни Маркс, ни Энгельс, ни Плеханов, никто либо другой из теоретиков марксизма так вопроса не ставили. А вот Максом Адлером такая постановка попахивает. Диалектический материализм именно тем и ценен, что он приложим ко всякому развитию, ко всякому движению, в какой бы области жизни это движение не происходило.

---

1) См „Анти-Дюринг" изд. Петр. Сов. 1918 г.

2) Почему то оба „критика" считают нужным говорить о своих сердцах. Из статей мы узнаем, что Сарабьянов обладает „горячим сердцем", у Гоникмана „сердце детское". Товарищи „критики", нас интересуют не столько ваши сердца, сколько ваши головы

Не забывайте, что Плеханов в своем предисловии к „Людвигу Фейербаху“ подходит к диалектике именно от примера, взятого из области механики (Движущееся тело).

Однако, Гоникман не унимается, он раскрывает „Анти-Дюринг“ на 106 стр. и закатывает нам цитату из Дюринга более чем на полстраницы. Цель? Т. Гоникман хочет доказать что Бухарин своею „теорией равновесия“ только повторяет Дюринга, так жестоко высмеянного Энгельсом.

Однако, тов. Гоникман, будемте внимательны. Дюринг в приведенной вами цитате все время доказывает „нелепость понятия реального противоречия“, Дюринг исключает противоречия, в то время, как вся теория Бухарина клонится к тому, чтобы доказать наличие реальных противоречий и об'яснить их.

Энгельс осуждал Дюринга не за то, что он ввел понятие противоположности материальных сил, а за то, что устранял противоречивость движения.

На стр. 109 „Анти-Дюринга“ Энгельс пишет:

„Если гегелевское „учение о сущности“ низведено до плоской мысли о силах, движущихся в противоположном направлении, но не противоречиво, то во всяком случае лучше всего уклониться от какого-либо применения этого общего места“. У Дюринга нет противоречия движения. Для него количество остается количеством, а качество—качеством. У Бухарина количество переходит в качество, его движение противоречиво и слова Энгельса не подрывают, а укрепляют его позицию.

Кроме того трижды прав т. Бухарин, когда он, предусматривая возражения т. Гоникмана, пишет:

„Против механических обозначений сравнительно недавно были протесты в среде почти всех марксистов. Это происходило потому, что старое представление об атомах рассматривало их, как обособленные, не связанные с другими, изолированные частицы. Теперь с учением об электронах, об атомах, как целых системах, на подобие солнечной, нет никаких оснований бояться механических обозначений“.

Таким образом мы, наконец, докатились с т. Гоникманом до того что внутри системы существует равновесие между материальными силами, направленными в разные стороны.

Общество есть система, а потому все сказанное относится к нему в полной мере.

Впрочем, пожалуй, не стоило так долго доказывать вещи давно известные:

Каутский оперирует с понятием равновесия вполне определенно. Третью славу своего „Vermehrung und Entwicklung in Natur und Gesellschaft“ он заканчивает словами: „Мы скорее замечаем, как внутри отдельных организмов, так и в отношении различных видов друг к другу, тенденцию к созданию и укреплению равновесия (подчеркнуто в оригинале) между силами, созидающими особи и виды и силами разрушающими“ (подчеркнуто мною) Следующая (IV) глава, носящая смертельное для т. Гоникмана название: „Равновесие в природе“ (Das Gleichgewicht in der Natur) начинается так:

„Если мы говорим, что в природе можно заметить постоянную тенденцию к состоянию равновесия между созидающими и разрушающими силами, то это на первый взгляд звучит несколько мистически, как вариант старой песни о всемудром творце, который в основу своего творения положил чудесную гармонию всех частей. Но чудо теряет свой

сверхестественный характер, если мы попытаемся представить себе, как в начале земной жизни должны были действовать силы разрушения и размножения (курсив мой)."

Далее на стр. 32 штутгартского издания (31—русского перевода Рязанова) [1]) Каутский пишет: „Если рассматривать всю совокупность организмов в целом, то прежнее равновесие между уничтожением, притоком питательных веществ и размножением никогда не может быть нарушено на продолжительное время; оно постоянно восстанавливается подобно равновесию частей каждого отдельного организма (курсив мой)... Если бы, однако, отдельные виды обнаружили тенденцию нарушить это равновесие, то сейчас же выступили бы другие тенденции, действующие в противоположном направлении" и т. д. и т. д.

Покойник Г. В. Плеханов, на стр. 324 „Критики наших критиков" писал: „Организация всякого данного общества определяется состоянием его производительных сил. С изменением этого состояния непременно должна, раньше или позже, измениться и общественная организация. Следовательно она находится в неустойчивом равновесии везде, где растут общественные производительные силы" (курсив мой).

„Жаль только, что новое поколение еще не начало в серьез изучать Плеханова, а старое в некоторой части уже забыло его". Золотые слова, т. Сарабьянов!

Наконец, напомним Марксово равновесие между определенными отраслями производства.

Таким образом, Каутский за двенадцать лет до появления книги т. Бухарина был его „неофитом" и освятил применение „его" теории к материальным системам природы, как к организмам („подобно равновесию частей каждого отдельного организма"), так и к совокупностям.

Плеханов и Маркс применяют эту теорию к совокупностям социального порядка (Плеханов—организация общества, Маркс—производство, как совокупность).

Единственное, что находит нужным сделать при этом Каутский, это подчеркнуть, что самая теория равновесия нисколько не упраздняет реальных противоречий, не подменяет антагонизма—гармонией. Эта оговорка еще более укрепляет наши позиции.

Однако, „критики" ликуют. Наша система остается до сих пор неподвижной и им представляется случай упрекнуть нас в статичности мышления, в оперировании категориями формальной логики и прочих смертных грехах.

Однако не спешите, товарищи, наша система придет сейчас в движение. Мы, конечно, привели бы ее в движение немедленно, если бы были сторонниками теории т. Гоникмана и полагали вместе с ним, что всякая система развивается вследствие причин, заложенных в ней самой и только в ней.

Однако мы не можем согласиться в этом пункте с т. Гоникманом, ибо он сам определенно не сводит концов с концами.

Действительно „среда является необходимым условием возможности развития" говорит т. Гоникман.

Это верно. Однако, т. Гоникман, сами вы протестуете против того, что „анализ причин Бухарин заменяет описанием". Давайте хоть мы с вами не делать этого. Попробуемте задаться вопросом,

почему „среда является необходимым условием возможности развития?“.

Ответ на этот вопрос мы найдем в той цитате из „Анти-Дюринга“, которую вы же сами приводите в своей статье:

„Если подобное ячменное зерно находит нормальные для себя условия, если оно падает на благоприятную почву, то с ним, *под влиянием тепла и влаги*, происходит своеобразное изменение: оно пускает ростки“ (курсив мой).

Оказывается—для того, чтобы зерно начало развиваться в растение, окружающая среда должна воздействовать на него при помощи физических (тепло) и химических (влага) сил.

Без приложения к зерну сил извне оно развиваться не будет. Где же лежат причины развития зерна: в зерне или вне его? И в *зерне и вне зерна, тов. Гоникман. Причины лежат в соотношении зерна с окружающей средой.*

Возьмем еще пример.

Для того, чтобы общество развивалось, необходимо чтобы росли производительные силы. Однако, *что такое производительные силы, если не определенный аппарат, создаваемый обществом для перекачки жизненных сил из природы в общество?*

Рост производительных сил обозначает собою увеличение количества энергии, перекачиваемой ежегодно из природы в общество. *Развитию общества предшествует увеличение количества энергии, поступающей в общество извне.*

Где же лежат причины развития общества? В соотношении общества с природой, тов. Гоникман.

Только изменение соотношения явления с окружающей средой может вывести систему из равновесия, привести ее к движению, развитию или регрессу.

Однако тут необходимо устранить некоторое недоразумение.

Гоникман совершенно не понял бухаринского построения. Об этом с достаточной очевидностью свидетельствуют хотя бы такие выдержки из его статьи:

„Нужно ли понимать т. Бухарина так, что при неизменной среде останется неизменным и зерно?“

„От него (Бухарина) мы впервые узнаем, что вид может изменяться только тогда, если меняется окружающая среда.“

О том же говорит длительное и скучное рассуждение Гоникмана о неизменном Б и изменяющемся А.

Поймите же, т. Гоникман, что для Бухарина дело не в изменении *среды*, а в *изменении соотношения между средой и явлением.*

Соотношение изменяется при изменении любого его члена.—Каутский пишет:

„*Изменения в общественных условиях сами являются следствием изменений в условиях природы, совершаемых самим человеком*“.

Естественное изменение или перемена природной среды приводит общество в движение заставляет его деградировать или развиваться. Развитие же (или деградация) общества вновь изменяет соотношение между обществом и средой и движение получает новый импульс.

Однако тут мы упираемся в поднятый т. Гоникманом вопрос, каким образом устойчивое равновесие сменяется неустойчивым, не становится ли тут необходимым вмешательство третьей силы, „черто-

Опять открываем Каутского (знаете ли, товарищ Гоникман, полезная вещь эти книги: право, иногда не вредно бывает в них заглянуть).

На странице 42 русского издания находим прямой ответ на все недоуменные вопросы т. Гоникмана.

„Когда мы говорим о равновесии между уничтожением и размножением организмов, то под этим, надо разуметь не неподвижно-устойчивое состояние, а тенденцию, которая проявляется с большими или меньшими колебаниями, и лишь в среднем создает состояния равновесия.

На стр. 43: „Предполагаемое нами равновесие, однако, не заключает в себе ничего, не совместимого с эволюционной теорией, хотя оно и делает мало вероятной возможность дальнейшего развития в течение всего периода господства такого равновесия. Равновесие предполагает непрерывное повторение одних и тех же внешних условий, что не исключает возможности незначительных изменений в них“.

Начинаете ли вы понимать, Гоникман, что об устойчивом равновесии говорится, как о некоей категории, имеющей более теоретическое, чем прикладное значение. В жизни равновесие всегда более или менее подвижно; только с некоторой степенью точности можно принять это равновесие за устойчивое. Пока воспроизводится система в целом в одном и том же виде (приобщительно), в соотношении окружающей ее среды с средою среды могут происходить более или менее незаметные изменения, которые, достигнув определенного количества, переходят в качество и меняют среду для нашей системы (толчок, от которого начинается непрерывная линия развития). Может быть и так, что общество, достигшее равновесия со средой его окружающей, перемещается в другую среду, где равновесие окажется нарушенным.

Как видите, т. Гоникман, мы благополучно обошлись без чертовщины, а вот обойдетесь ли вы без чертовщины со своим развитием, имманентным явлению?

Кстати: не потрудитесь ли вы раз'яснить нам, кто это вложил в каждое явление такую полезную способность к развитию?

Однако наш ответ слишком затянулся. Вряд ли есть необходимость продолжать статью. Разве уже не ясно, насколько легковерна и несерьозна „критика“ смелых авторов.

Такая легковерность критики особенно неуместна, когда обсуждаются такие книги, как книга Бухарина.

Александр Кон.

* * * * * *

ТРИБУНА.

Философию за борт! [1]

За самые последние месяцы, борьба на фронте отвлеченнаго мышления оживилась: затрещали журнальные пулеметы, заухала тяжелая книжная артиллерия.

Отрадный признак!

Но в этой бурной атаке мы сами обнаруживаем не мало путаницы и, к сожалению, под час по самым кардинальным вопросам.

Примеры? Да вот он—изумительный, разительный пример — это наша возня с какой-то „философией марксизма".

„Религия марксизма. Религия пролетариата"—не так давно и эти термины и понятия далеко не всем казались уродливыми и смешными.

Но эти времена прошли, по крайней мере, для авангарда рабочего класса.

„Ф-и-л-о-с-о-ф-и-я марксизма". Нет, на известной стадии это гораздо вреднее и опаснее, чем религия пролетариата.

Ибо если кто-нибуд из марксистов спутается с релегией, каждый рабочий-средняк со здоровыми мозгами может поправить и предложить развод неестественному союзу.

Но что делать рабочему, когда на его мозговые форты ведется газовая атака философией!

I Три способа понимать мир.

В последний период истории человечества три главных общественных класса боролись между собой: 1. Земледельцы, 2. Буржуазия и 3. Пролетариат.

И каждый из этих классов прекрасно понимал, какое могучее оружие в борьбе представляет из себя тот или иной метод, то или иное содержание отвлеченного мышления, тот или иной общий взгляд на мир! В этой жестокой, роковой борьбе каждый класс пытался, с тем или иным успехом, арсенал своего вооружения пополнить так называемым „духовным оружием".

Помещики-рабовладельцы, феодалы, крепостники пользовались оружием религии.

Буржуазия воевала при помощи философии.

Пролетариат же опирается в борьбе исключительно на науку.

---

[1] От редакции. В редакцию поступило несколько писем, где ставится вопрос: нужна ли нам философия? Статью тов. Минина мы получили из ред. "Правды". Мы решили ее напечатать с ответом на нее, вследствие того, что в ней вопрос поставлен резко, точка зрения автора выяснена достаточно и в некотором смысле направлена против нашего журнала. К сожалению за недостатком места мы были вынуждены сократить статью.

II. Религия—оплот помещичьего класса.

Но что такое религия? Амплитуда колебаний в содержании этого понятия колоссальна—от веры дикаря в физическое существование „души" во сне или после смерти тела, от веры древняго крестьянина в домового (домашнего бога) до рационалистическаго „Божества" и до „Бога-природы".

Вот он духовный оттиск историческаго класса, который в производстве и эксплоатации не нуждается в науке и пытает или сжигает живьем ее представителей. При этом отнюдь не пролетарская наука страшит помещика-дикаря, а даже наука, испорченная философией.

III. Философия—опора буржуазии.

Не идеалистическая, не метафизическая только, а именно философия вообще, философия, как таковая. Содержание этого понятия необычайно широко: до спиритуализма, т.-е. от той же религии и вплоть до... марксизма.

Философия—это полу-вера, полу-знание, полу-откровение, полу-наука. Вернее, философия больше вера, чем знание, она ближе к религии, чем к науке.

Религия по-своему монистична.

Наука монистична безусловно.

Философия,—это дуализм или, еще хуже, эклектика.

Оно и понятно: философия,—это духовный оттиск буржуазии, квинтэссенция ее классового „духа". Философия,—это скорбь и чаяния души класса буржуазии, собственников капитала, сторонников парламентской монархии или монархической республики.

Буржуазия не может признать для себя целиком религию, потому что для самой эксплоатации, буржуазия нуждается в науке.

Но буржуазия не может целиком признать и науку, так как без религии она не сможет удержать за собой эксплоатацию.

А в результате хаотическая, эклектическая помесь из религии и науки с большим или меньшим, но несомненным уклоном от науки к религии, как и подобает „мировоззрению" эксплоататорского класса.

Такова „субстанция" философии с ее двумя «аттрибутами».

IV. Наука—меч пролетариата.

Но что такое наука?

Наука есть путем действия добываемое человеком познание материальнаго мира в его единстве, в его закономерном, и диалектическом развитии.

Единство мира отражается и в аппарате человеческаго познания. Потому в науке не может быть, как в философии, ни дуализма, ни эклектики вообще. Наука не только, стало-быть, материалистична,—она монистична по происхождению, а следовательно, и по содержанию.

Помещик смотрит на науку, как озлобленный кастрат на женщину.

Буржуа смотрит на науку, как на проститутку, которую можно купить.

И только пролетариат видит в науке подлинного друга и соратника.

V. „Философия марксизма".

Мы—революционеры до конца, мы, марксисты, материалисты, диалектики, позволяем себе, целиком отвергая религию, то безобидно раскланиваться с философией, то заигрывать с нею, то даже подчиняться ее буржуазной стихии.

Правда, философию признавал даже... Маркс. Он писал:

„Подобно тому, как философия находит в пролетариате свое материальное оружие, так пролетариат находит в философии свое духовное оружие"..

Но только когда же это было! Это было почти в тот же самый год, когда Маркс писал:

„Мы хотим того же, чего хотела „Критика религии" Фейербаха: придать сознательную человеческую форму религиозным и политическим вопросам" („Литер. насл." т. I, стр. 533 и 515).

У Маркса и Энгельса такие термины и понятия были только в начале постройки здания.

Леса эти были потом сожжены без остатка.

Но теперь, зачем теперь вам говорить о какой-то „философии марксизма" или „философии пролетариата"?!

1844 и 1920-22 годы—ведь это большая разница, особенно с точки зрения диалектики.

Но мы говорим, а то так даже и трубим об это самой „философии".

Так, Плеханов употребляет очень часто этот немарксистский термин „философия марксизма" или: „философская сторона марксизма" („Основные вопросы марксизма", гл. I).

Так, Ленин тоже пишет: во введении к „Материализм и Эмпириокритицизм" 2 сентября 1920 года: „Я надеюсь, что оно (его сочинение) будет... как пособие для ознакомления с философией марксизма, диалектического материализма, а равно с философскими выводами из новейших открытий естествознания".

Новый журнал: „Под знаменем марксизма" грешит в этом не мало, начиная с обращения „От редакции" (№№ 1-2):

„Нужно пройти закаляющую школу марксовой философии, чтобы стать стойкими, уверенными, несокрушимыми коммунистами".

У некоторых же авторов это упоение переходит всякие границы.

Если А. Деборин называет свою книгу „Введение в философию диалектического материализма", то Б. И. Горев называет свою брошюру уже „Материализм—философия пролетариата"..

А. Деборин на 226 странице своего „Введения в философию(!?) диалектического материализма" пишет:

„Таким образом, диалектический материализм заключает в себе в качестве „подчиненных моментов" и феноменализм и трансцидентальный идеализм... и метафизический идеализм"...

„Диалектический материализм, словом, примиряет (!) и об'единяет (?) в высшем философском (почему не научном? М.) синтезе все течения (!?) философской мысли (и близкие к религии тоже? М.) и представляет собой результат развития всей новой философии".

„Заключает в себе..." „примиряет..." „об'единяет..." „все течения...".

Но неужели диалектический материализм ничего не исключает и ни с чем не борется?!

VI. Прислушайтесь к врагам.

Есть на свете „Энциклопедический словарь" Брокгауза и Эфрона, совокупное детище молодой, но уже дряхлой русской буржуазии. Там под словом „Философия" помещены две статьи—Э. Радлава и Е. Г. Дебольского.

Радлав начинает очень торжественно:

„Философия—есть свободное исследование основных проблем бытия человеческого познания, деятельности и красоты.."

Но тут же автор разоблачает свою буржуазную богиню:

„Философия имеет задачу весьма сложную и решает ее различным образом, стараясь соединить в одно разумное целое данные, добытые наукой, и религиозные представления" (т. 70, стр. 822).

Другой автор—Дебольский—тоже пишет:

Между философией и положительной религией—и в частности хри-

стианством — не оказывается повода к принципиальной враждебности; но при этом за философией остается право излагать входящие в ее систему религиозные положения своим точным и современным языком, не стесняясь терминами религиозной догматики, а также не считать того, что явно ненаучно, словом Божественной премудрости". (836).

Удивительно точно.

И, повидимому, та же или подобная компания откровенничает теперь в петербургском философском журнале „Мысль" № 1, 1922 г.:

„Всякая более или менее продуманная и глубокая философская система приводит нас к идее абсолютного бытия или Бога" (беру цитату из № 3 „Под знаменем марксизма", стр. 122—123).

При этом рецензент уже марксистского журнала замечает:

„Поскольку последовательный материализм, основанный на науке, они (вольфилы—авторы „Мысли") не считают за философию" (Ну, еще бы!..), „постольку замечание Карсавина относится к идеалистическим системам"... И дальше:

„Введя в свои философские теории в качестве „обязательно присутствующего" бога, вольфилы вычеркивают себя из среды работников науки" (стр. 123).

Но почему марксисты не „вычеркивают себя из среды работников" философии, как они вычеркнули себя „из среды работников" религии—вот в чем вопрос и вот что удивительно!

Враги правы: философия не наше дело.

VIII. Маркс и Энгельс против философии.

То, что неясно сейчас многим марксистам, то было вполне прочно развито и установлено Энгельсом и Марксом. Особенно же разработан этот вопрос у Энгельса.

I. Философия — плод буржуазии. „Вся эпоха возрождения, начиная с половины 15 века, и в частности пробудившаяся с тех пор философия, была плодом развития городов, т.-е. буржуазии. Философия только выражала по-своему те мысли, которые соответствовали переходу мелкой и средней буржуазии в крупную". (Ф. Энгельс. „Л. Фейербах". Изд. ВЦИК М. 1918, стр. 69).

II. Конец философии: „Гегелевская система, как система, была колоссальным недоноском, но за то и последним в своем роде" (Ф. Энгельс. „Развитие социализма от утопии к науке", изд. „Мысль", М. 1917, стр. 14). „А система Гегеля—венец всего философского развития" („Л. Фейербах", стр. 28).

Дальше Энгельс называет гегелевскую философию „заключительным фазисом философского движения со времен Канта" („Л. Ф." 30).

IIа. Наконец, Энгельс высказывается еще более определенно: „философии, в старом смысле слова, приходит конец. Мы оставляем в покое „абсолютную истину", к которой возможно придти этим путем и отдельному человеку, и устремляемся в погоню за достижимыми для нас относительными истинами, вооружившись положительными науками и диалектическим методом, об'единяющим добытые им результаты. С Гегелем вообще заканчивается философия—с одной стороны, потому, что его система представляет собой величественный итог всего предыдущего развития (курсив Ф. Э.), а с другой—потому, что он сам, хотя и безсознательно, указывает нам путь, ведущий из лабиринта систем к действительному и положительному познанию мира („Л. Ф.", 34).

III. Лучи заката: „Штраусс, Бауэр, Штирнер, Фейербах были отпрысками гегелевской философии, стоявшими еще на философской почве. Один Фейербах был выдающимся философом. Но он не только не успел перешагнуть за пределы философии, выдававшей себя за некую науку наук, парящую над всеми отраслями знания и связующую их воедино; эта философия не только была в его глазах неприкосновенной святыней,—он даже и в ней остановился на полдороге—был материалист снизу, идеалист сверху". („Л. Ф.", 56).

IV. Философия излишня, философия погребена на веки. „В обоих случаях материализм является по существу диалектическим и делает излишней всякую философию, пред'являющую претензию стать выше других наук" („Развитие социализма", стр. 14). „Философу действительности"—Дюрингу Ф. Энгельс возражает: „Если мы выводим мировой схематизм не из головы, но только посредством головы из действительного мира, а принципы бытия из того, что существует, то для этого мы нуждаемся отнюдь не в философии, но в положительных знаниях о мире и о том, что в нем происходит; и то, что при этом получается, есть равным образом отнюдь не философия, но положительная наука". (Перевожу с 11 издания немецкого оригинала „Анти-Дюринга", стр. 23).

Не менее решительно выражается Энгельс и в „Л. Фейербахе": „Теперь философия природы погребена на веки. Всякая попытка откопать ее не только была бы излишней, но означала бы шаг назад (курсив Энгельса). Но то, что применимо к природе, понятой теперь как исторический процесс развития, применимо также ко всем отраслям истории общества и ко всей совокупности наук, занимающихся человеческими (и божескими) предметами" (61).

V. Остается ли что от философии? „Из всей прежней философии самостоятельное значение сохраняет лишь наука о мышлении и его законах,—формальная логика и диалектика, все же остальное входит в положительные науки о природе и истории". („Развитие социализма от утопии к науке". Ф. Энгельс, стр. 14).

„За философией, изгнанной из природы и из истории, остается, поскольку остается, лишь область чистой мысли: учение о законах процесса мышления, логика и диалектика" („Л. Фейербах". 73).

Итак, от всей философии остается, „поскольку остается", только наука, то-есть, проще говоря, ровно ничего не остается: философия в голове пролетариата окончательно вытесняется наукой.

VI. Как же называется пролетарское понимание мира? Оно называется: „положительное знание о мире" или „положительная наука", или „диалектический метод и коммунистическое мировоззрение" (Предисловие Энгельса ко 2-му изданию „Анти-Дюринга"), или „диалектический материализм" или, наконец, просто „диалектика", при чем последнюю Энгельс опять определяет, как науку:

„Диалектика есть ничто иное, как наука о всеобщих законах движения и развития природы, человеческого общества и мышления" („Анти-Дюринг", гл. XIII).

Одним словом, у пролетариата остается и должна остаться наука, только наука, но никакой философии.

VIII. Науку на мостик—философию за борт.

Почему же мы до сих пор путаемся в трех соснах (религия, философия, наука), как напр. в „Теории исторического материализма", Бухарина: „Он (пролетариат) имеет свою философию, которая есть философия действия и борьбы, научного познания и революционной практики" (стр. 215),

или как в журнале „Под знаменем марксизма", когда договариваемся опять до какой-то „философии современного естествознания" (№ 3, 125) и даже до „философии истории" (?!) (№ 1, 3).

Оборудуя и достраивая наш научный корабль, позаботимся в первую очередь с капитанского мостика вслед за религией без остатка вышвырнуть за борт и философию.

С. Минин.

26/IV, 1922 г., 02 ч. 25 м.

* * * * * *

Философию за борт?

Имеет ли пролетариат свою философию?

Может-ли быть вообще пролетарская философия?

Нет-ли в этом сочетании слов непримиримого противоречия?

На эти грустные размышления навел наш журнал кое-кого из товарищей, которые, обдумав эти вопросы, решили „философию выбросить за борт!" и оставит пролетариату лишь науку.

Мы хотим в нескольких словах ответить этим товарищам.

Возиться с „философией марксизма",—говорит один из них т. Минин,—это все равно, что возиться с „религией пролетариата": на известной стадии это (возня с филосифией марксизма—В. Р.) гораздо вреднее и опаснее ибо если „рабочий средняк" прекрасно справляется с религией во всех ее формах, то с философией ему будет труднее.

Существуют три способа понимания мира: религия, философия и наука. „Помещики—рабовладельцы, феодалы, крепостники,—пользовались оружием религии.

Буржуазия воевала при помощи философии.

Пролетариат же опирается в борьбе исключительно на науку".

Так схематически-упрощенно представляется тов. Минину идеологическое отражение борьбы классов.

„Духовным оружием" буржуазии является философия,—какая философия! Вот попробуйте поискать теперь такого буржуазного философа, который проповедывал бы материализм (пусть даже метафизический!). Лет сто двадцать тому назад буржуазия, действительно, сражалась против помещичьяго феодального строя мыслей—против религии—философией, но это была философия материалистическая и революционная. Тов. Минин называет этот материализм презрительным прозвищем „метафизический материализм"! Не спорим. Материализм XVIII века страдал этим грехом. Но даже этот недостаток не уменьшил его революционную силу. Какова же должна быть мощь материализма, обогащенного диалектикой и головокружительными достижениями современной науки, которая каждодневно приносит все больше и больше материалов для подтверждения его выводов?

Тов. Минин находит, что религия,—это „духовное оружие момещиков и феодалов". Это прямо неверно. Религия возникла задолго до образования класса землевладельцев, до феодализма. И помещики, и крепостники, и рабовладельцы прекрасно умели пользоваться религией, как одним из орудий угнетения. Но разве буржуазия отстает от вышеперечисленных своих коллег? Разве буржуазия сегодня менее пользуется религией для угнетения трудящихся—рабочих и крестьян, чем ее ранние предшественники, господствовавшие до нее? В том-то и все дело, что, вопреки желанию тов. Минина, буржуазия теперь гораздо настойчивей, чем ее предшественники, добивается господства церкви, распространения и пропаганды религии, и делает это гораздо более искусно и умеючи, чем какой бы то ни было другой до нее господствовавший класс.

Неверно, что „религией пользовались, как оружием, помещики"—ею пользовались и пользуются все классы-эксплоататоры, все классы, которым выгодно порабощение трудящегося большинства. Религия, как и идеалистическая философия, которую никак нельзя отделить с такой категоричностью от религии, поскольку и та и другая в конечном итоге сводятся на Бога, являются прекрасным „духовным оружием" в руках всех эксплоататоров и могут быть уничтожены лишь с уничтожением классов и эксплоатации человека человеком. „Пролетариат же опирается в борьбе исключительно на науку"—это продукт ребяческой путаницы понятий. Конечно, пролетариат опирается на науку, все его мировоззрение насквозь научно, но разве это исключает то, что пролетариат имеет свою философию, которая тоже отличается от философии буржуазии именно своей научностью? Ведь отличительная особенность материализма в том именно и состоит, что его выводы не противоречат выводам науки.—Наука, в свою очередь, лишь укрепляет философский материализм каждодневно своими головокружительными успехами.

„Религия по своему монистична (какая религия! есть религии далеко не монистичные, да и христианство, самая монистическая и самая совершенная из всех религий, не отличается особо-стройным монизмом—В. Р.). Наука монистична безусловно. Философия—это дуализм или, еще хуже, эклектика". Тут просто игра словами и спор о словах. Если тов. Минину угодно материализм Маркса и Энгельса, который отличается несомненным монизмом и носит название „философии марксизма" или „пролетарской философии"—назвать наукой и противопоставить ее философии, т.-е. фактически идеалистической философии, то, конечно, его никто за эту шаловливую игру не высечет, но и хвалить никто не станет, ибо ни Маркс, ни Энгельс так скоро не уступали своим противникам своих предшественников и учителей. На самом деле, отбросить за борт французских материалистов, на том основании, что они „философы" и не придерживались или не знали диалектики Гегеля (жившего и писавшего уже в XIX в.) это, значит, в лучшем случае, уподобиться Ивану, непомнящему родства. Мировоззрение Маркса и Энгельса многим обязано не только французским материалистам XVIII в., но и Спинозе, не говоря уже о Гегеле и Фейербахе, непосредственными учениками коих они были. Но эти философии целыми кусками вошли, как составные части, в то мировоззрение Маркса, которое тов. Минин хочет всемерно перекрестить в „науку". Как вы, тов. Минин, ни старайтесь, ваша монистическая „наука" на три четверти состоит из „философии" таких презренных „дуалистов", как Спиноза, материалисты XVIII в., Гегель, Фейербах...

Марксистское мировоззрение предполагает, как неизменную, необходимую составную часть,—материализм, при чем—материализм диалектический.

А что такое материализм, как не философия?

Когда наш журнал употребляет термин „философия марксизма", он и должен быть понят, как синоним диалектическому материализму.

Тов. Минин сердится не только на наш журнал: он недоволен также Г. В. Плехановым и В. И. Лениным. Они тоже, оказывается, не раз употребляют этот „немарксистский термин" Хорошо быть в такой кампании даже тогда, когда тебя обвиняют в пристрастии к немарксистским терминам. Но мы оказываемся все трое в еще более высокой кампании, в кампании Ф. Энгельса и К. Маркса. Они тоже не раз говорили о своей философии, но кроме того, они отличались от т. Минина тем, что по консервативности характера своего никак не хотели выбросить „за борт философию!" Наоборот, они старательно изучали „философов" XVIII в. и идеалистов, а первый из этих „немарксистских" стариков—Ф. Энгельс в 1874 году писал о том, что если во Франции сознательные рабочие не живут и не мыслят как материалисты, то „всего проще было бы помочь делу (т.-е. привлечь внимание сознатель-

ных рабочих к материализму)—массовым распространением между французскими рабочими великолепной французской материалистической литературы прошлого (т.-е. XVIII—В.Р) века;той литературы, в которой французский ум достиг самого высшего своего выражения и по содержанию и по форме, и которая, принимая в соображение тогдашнее состояние науки, по своему содержанию до сих пор стоит бесконечно высоко, а по форме остается несравненной".—Ф. Энгельс советует всемерно заинтересовать французских рабочих материалистической философией, которую он не без резона считает необходимым для сознательных рабочих, тов. Минин советует нам „выбросить за борт философию",—мы предпочитаем слушаться советов Энгельса и слыть „немарксистами". Мы будем и впредь в нашем журнале настойчиво советовать всем сознательным рабочим читать философские творения материалистов XVIII в. (т.-е. заниматься философией), памятуя советы нашего великого учителя, что это вернейшее средство широко распространить материализм современный (т.-е. диалектический) среди пролетариата.

Тов. Минин советует прислушаться к врагам: „это полезно. Враги лучше вас понимают, что такое философия, как таковая"... И в качестве врагов, к мнению которых следует нам прислушаться и которые лучше нас и т. д. он указывает на... Радлова(!) и Дебольского(!?), которые написали статьи в Энц. словаре „Брог. „Ефр." (ай, ай, ай тов. Минин. Не нашли более компетентных лиц и более свежего аргумента). По правде сказать, я не хотел выдавать эту вашу тайну, тов. Минин, но ничего не поделаешь, в назидание другим следует-таки показать у кого вы сами учитесь и чьему голосу советуете прислушаться нам. Радлов говорит, что философия старается соединить „в одну разумное целое данные добытые наукой и религиозные представления", а проф. Карсавин утверждает, что „Всякая более или менее продуманная и глубокая философская система приводит нас к идее абсолютного бытия или Бога"—и прочитав эту идеалистическую чепуху тов. Минин счел для себя возможным не только согласиться с ними, но и предложить нам с вами, читатель, согласиться с этими заядлыми буржуазными мракобесами: „Враги правы. Философия не наше дело"—победоносно умозаключает тов. Минин, но в том-то все и дело, что враги не правы, или, скорее, правы лишь на половину.

Когда Карсавин говорит—„всякая более или менее продуманная и глубокая философская система",—он имеет в виду идеалистические философские системы, ибо материализм, по его мнению, ни в какой степени не может гордиться ни глубиной ни продуманностью. Карсавин прав по отношению ко всяким идеалистическим системам. Они не могут не приводить к идее Бога. Но из этого совсем не следует, что мы должны согласиться с ним в оценке материализма, как системы „не продуманной и не глубокой". А раз мы не согласимся с Карсавиным в этом, то нам нет никакого резона отчаиваться и выбросить за борт философию, на том основании, что враги наши выбросили нашу философию из числа философских систем. На то они и враги!

Выбросить за борт философию, значит выбросить за борт материализм. А сделать это, значит поднять руку против самого себя, против собственного мировоззрения основным столбом котораго и является материализм.

К. Маркс писал: „Материализм, пополненный теперь тем, что было добыто самой спекуляцией, и совпадающий с гуманизмом, навсегда покончит с метафизикой. Подобно тому, как Фейербах в теории, французский и немецкий социализм и коммунизм являются на практике материализмом, совпадающим с гуманизмом". По мнению Маркса, еще французский материализм приводил своих последователей прямехонько к социализму и коммунизму. Современный материализм является непосредственно фундаментом коммунизма.

Кто выбросит материализм за борт, тот выбросит за борт и коммунизм, тот скорехонько вслед за этим скатится к оппортунизму.

Что скажете о ссылке тов. Минина на А. Деборина? Это результат какого то совершенно необ'яснимого недоразумения; стоит только немного напрячь внимание, чтобы понять, что А. Деборин говорит там как раз о том, что исключает и с чем борется диалектический материализм. Мы не имеем возможности теперь останавливаться на этом вопросе, но нашему читателю будет стоит очень мало трудов открыть книгу тов. Деборина (по первому изданию стр. 232) и прочесть это место в контексте. Тов. Минин просто невнимательно прочел эту главу VII—вот наилучшее для него предположение, которое сделает читатель, познакомившись с текстом тов. Деборина.

Не меньше конфуза и с цитатами из Ф. Энгельса.

Первая из приведенных цитат констатирует, что Возрождение и философия с XV в. были плодом развития буржуазии. Это несомненно. Но разве это доказывает, что Энгельс против своей собственной философии? Этот отрывок тов. Минин озаглавил: „Философия—плод буржуазии“.—Не всякая философия. Философия родилась гораздо ранее эпохи Возрождения. Цитате второй предшествуют следующие строки: „Раз мы поняли... что требовать от философии разрешения всех противоречий, значит требовать, чтобы один философ сделал такое дело, какое в состоянии выполнить только все человечество в его поступательном развитии,—раз мы поняли это, философии, в старом смысле слова, проходит-конец“. Прочтите теперь внимательно цитату полностью и вы убедитесь, что Энгельс ничуть не боялся слова философия, что он хоронил лишь мертвецов („философию в старом смысле слова“) и совсем не намеревался с водою выплеснуть и ребенка. В цитате третьей даже в том виде, в каком она приведена у тов. Минина ясно видно, что Энгель сговорит все о той же „философии в старом смысле слова“ („выдававшей себя за некую науку наук“...).

В других цитатах... но воздержимся от разбора всех цитат—мы местом ограничены. Пусть читатель сам попробует найти указанные тов. Мининым места и прочтет—мы там не нашли ни единого места, где бы Энгельс или Маркс высказались против „философии в новом смысле слова“,—а ведь этого и нужно было доказать тов. Минину, ибо кому неизвестно, что Энгельс и Маркс высказывались не раз (число таких цитат можно было увеличить на много) против „философии в старом смысле слова“.

Мы кончаем. Тов. Минин сражается против врага призрачного, некоторые его формулировки показывают, что он не очень дорожит „философей в новом смысле слова“—т.-е. Марксовой философией.

Напрасно. Повторяем такой путь прямехонько приведет к оппортунизму.

(В. Румий).

* * * * * *

БИБЛИОГРАФИЯ.

Исторический материализм (источники, комментарии и библиография.) Сборник статей; пособие для партшкол, политкурсов и кружков марксистской мысли.—Гос. Изд. Киев, 1921 г., стр 174.

Идея—дать слушателям Совпартшкол, политкурсов и кружков по изучению марксизма христоматию по определенным вопросам, где были-бы собраны „источники", статьи комментирующие и раз'ясняющие основныя проблемы марксизма и библиографию—прекрасная идея.

Теперь каждый, изучающий марксизм, тратит неимоверное количество времени на розыски и собирание материалов; в виду того, что статьи-комментарии марксистов помещены чаще всего в журналах, составляющих теперь библиографическую редкость („Новое Слово", „Научное обозрение", „Начало"),—не говоря уже о нелегальной, заграничной литературе,—совершенно недоступных для огромной массы учащихся,—вся наша необозримая провинция работает и учится, пользуясь отрывками, бог весть какими путями добытыми.

Повторяем, идея создания христоматий—прекрасная идея.

Но не всякая хорошая идея хорошо исполняется.

Прекрасным примером того, как хорошую идею можно плохо выполнить—является реферируемый сборник.

Он состоит из двух частей, (хотя авторы думают—из трех). В первой части дается ряд отрывков из произведений Маркса и Энгельса, посвященных „формулировке их материалистических методологий." Мы воспроизводим эти отрывки в том виде, в каком они вошли в „памятную книжку марксиста", составленную И. Чернышевым, во второй части приведены пять статей Г. В. Плеханова.

Просмотрите вы главу, носящую гордый заголовок „Литературные источники"—она с точки зрения современного читателя страдает целым рядом совершенно непростительных недостатков: во-первых, совершенно не использованы такие вещи, как предисловие Энгельса к английскому изданию его брошюры „Разв. научн. соц. от утопии к науке", как и самая эта брошюра, не использована переписка, содержащая в себе очень много весьма метких „общих мест"—как выражается автор „предисловия" к сборнику, не использована брошюра „Гражданская война во Франции", и т. д. и т. д. Если, несмотря на это, книга И. Чернышева удовлетворяла некоторую долю потребностей русского читателя до революции, то после революции ни его подход к Марксу, ни подбор отрывков из Маркса и Энгельса, его—русского революционера-читателя сегодня ни в какой степени не удовлетворят.

Достаточно указать, что отдел В „надстройка" (стр. 22), где государству отводится три страницы, ограничивается простой перепечаткой

того, что в 1905 г. нашел нужным привести И. Чернышев. Не догадались (уж если самостоятельно редакторы не были в состоянии искать цитат и отрывков) обратиться к очень известной книжке, не менее известного человека—В. И. Ленина—„Государство и революция“, где приведено достаточное количество цитат и отрывков из Маркса и Энгельса! Еще хуже обстоит дело с другими „надстройками“.

Для наших товарищей из Украинского Госиздата пять лет революции как будто пропали даром, пролетариат не создал своего советского государства, а Маркс будто и не говорил о пролетарском государстве...

Не лучше обстоит дело и со вторым отделом, озаглавленным „Комментарии (избранные статьи Г. В. Плеханова)“.

Сюда вошли, как мы уже указали, пять статей Г. В. Плеханова: 1) материалистическое понимание истории, 2) несколько слов в защиту экономического материализма, 3) от идеализма к материализму, 4) к вопросу о роли личности в истории и 5) предисловие к „Комм. ман.“ Стоит только пробежать заглавия статей, чтобы тотчас же бросились в глаза случайность подбора и отсутствие определенного ясного представления у составителей, чего им надо.

Конечно, теоретические статьи Г. В. Плеханова (какими являются все приведенные в сборнике статьи) сами по себе ценны, и, если бы они были собраны не с целью служить „комментарием“ к Марксу и Энгельсу и руководством для учащихся—мы всемерно приветствовали бы их появление, хотя и в том случае бессистемность—ни с какой стороны не достоинство. Но тут мы имеем иное и приветствовать составление такого комментария никак не можем.

Во-первых, все ли статьи приведенные являются „комментарием?“ Ничуть не бывало.

Статья „От идеализма к материализму“ (стр. 77—110) ничего общего с „комментарием“ не имеет, это история так наз. левого гегельянства, написанная Г. В. Плехановым для „Истории западной литературы“ изданная Т-вом „Мир“; в своем месте—статья прекрасная, хотя и не без дефектов, но в ряде статей 90-ых и 900-ых годов—она ни к селу ни к городу, и читая ее читатель в недоумении: „каким образом и почему эта статья попала сюда?“ Тем более, что статья имеет весьма существенный привкус времени войны. Да и не мудрено, Г. В. Плеханов никогда не писал статей академических. Даже философские статьи его носят на себе ясные следы своего времени. „От идеализма к материализму“ написана во время войны; позиция Г. В. Плеханова в вопросе войны была столь определенная, что нужно было бы удивляться, еслибы она как-нибудь не отразилась на статье. Она и отразилась и в значительной мере; вот один лишь пример: „По учению Гегеля, народ, представляющий собою высшую ступень развития всемирного духа, имеет право смотреть на другие народы, как на простые орудия достижения его исторических целей. Это надо заметить. Если теперь немцы не церемонятся с побежденными, то в этом есть, к сожалению, капля гегелова меда“; Таких отрывков можно привести несколько—и все это редакция печатает в сборнике, долженствующем стать учебным руководством, даже без соответствующих примечаний и раз‘яснений. Это не только вредит сборнику—оно совершенно обесценивает его.

С другой стороны, далеко не все из Плеханова приведено, что следовало бы и что следует самым настойчивым образом рекомендовать нашей читающей и обучающейся публике. „Критика наших критиков“, статьи против Бернштейна и К. Шмидта, ответ на брош. Бернштейна „Возможен ли научный социализм“, очерки по истории материализма, „Основные вопросы марксизма“ и т. д. и т. д.

К сборнику приложен „Указатель литературы по историческому мате-

риализму", составленный т. Я. Розановым. Список очень маленький—в нем около 60—70 названий—и составлен крайне неряшливо, даже марксистские журналы конца 90 и начала 900 г. не просмотрены достаточно внимательно.

Закончим нашу рецензию тем же, чем и начали: создать христоматии по вопросам марксистских теорий дело нужное и неотложное, но это нужно делать умеючи и уж во всяком случае лучше, чем это сделали наши украинские товарищи.

К учащейся молодежи нужно больше внимания.

В. Р.

Г. Плеханов. „Искусство и общественная жизнь".—Издание московского Института Журналистики. М. 1922 года.

В каком отношении находится искусство к действительности? Существует ли какая нибудь зависимость между искусством и общественной жизнью?

Эти вопросы—кардинальные и спорные вопросы искусства—и служат предметом обсуждения в реферируемой брошюре.

Г. В. Плеханова занимают два вопроса, или скорее один вопрос, для правильного решения которого ему приходится предварительно ставить два новых вопроса.

„Какой из этих двух прямо противоположных взглядов на задачу искусства (искусство для жизни или искусство для искусства)—может быть признан правильным?"—такая формулировка вопроса способна породить неправильное понимание существа дела. На этот, как и на все подобные „вопросы, нельзя смотреть с точки зрения *долга*". Было бы правильнее вопрос поставить иначе: „*каковы наиболее важные из тех общественных условий, при которых у художника и у людей, живо интересующихся художественным творчеством, возникает и укрепляется склонность к искусству для искусства?*" (ст. 11). Правильное решение этого вопроса сильно облегчит решение другого, тесно с ним связанного: „*Каковы наиболее важные из тех общественных условий, при которых у художников и у людей, живо интересующихся художественным творчеством, возникает и укрепляется так называемый утилитарный взгляд на искусство, т.-е. склонность придавать его произведениям „значение приговора о явлениях жизни*". На огромном количестве примеров из нашей и западно-европейской литературы Плеханов приходит к выводу, который для современного читателя не будет представляться трудно воспринимаемым.

„Склонность художников и людей, живо интересующихся художественным творчеством, к искусству для искусства *возникает на почве безнадежного разлада с окружающей их общественной средой*". На примере наших утилитаристов—60-ников, художников времен Великой Французской революции, художников времен революции 48 года он показывает, что и так называемый утилитарный взгляд на искусство, т.-е. склонность придавать его произведениям значение приговора о явлениях жизни и всегда ее сопровождающая радостная готовность участвовать в общественных битвах возникает и укрепляется там, где есть взаимное сочувствие между значительной частью общества и людьми, более или менее деятельно интересующимися художественным творчеством".

Эти два ответа, повторяем, для нашего читателя будут тем более понятны, что вся современная художественная литература, в громадной своей части воспевающая вещи ничего общего с гражданской доблестью не имеющие, исходит из групп и слоев, действительно безнадежно оторванных от

Еще до сих пор существует и крепко держится мнение, будто так наз. утилитарный взгляд на искусство „разделяется преимущественно революционерами, или вообще людьми передового образа мыслей“. Одни видят в этом положении лишнее доказательство против этого взгляда, другие—за него. Плеханов прекрасно, на большом количестве примеров, показывает, что не только революционеры, но даже такие мордобойные реакционеры, как Николай I и его слуги, Людовик XIV, Наполеон I, Наполеон III—все они старались использовать искусство в своих целях, не одинаково удачно, но с одинаковым рвением, все они питали большую склонность к „утилитарному искусству“.

Каково отношение социализма к искусству для искусства?

„В социалистическом обществе увлечение искусством для искусства сделается чисто логически невозможным в той же самой мере, в какой прекратится опошление общественной морали, являющейся теперь неизбежным следствием стремления господствующего класса сохранить свои привилегии“. Это—в назидание многим из наших товарищей, утверждающим, что в социалистическом обществе утилитарный взгляд на искусство уступит место „чистому искусству“.

На всех замечательных мыслях, высказанных в этой статье Г. В. Плехановым, мы остановиться не можем, вследствие недостатка места. Отметим лишь несколько мыслей его о современном буржуазном искусстве.

„Нынешним эстетам,—утверждает Плеханов,—необходим такой общественный строй, который вынуждал бы пролетариат трудиться в то время, как они предаются возвышенному наслаждению... в роде рисования и раскрашивания кубов и других стереометрических фигур. Органически неспособные к какому нибудь серьезному труду, они испытывают искреннейшее негодование при мысли о таком общественном строе, в котором совсем не будет бездельников“.

Не в бровь, а в глаз нашим современным имажинистам, футуристам, кубистам, мистикам, декадентам (остались еще и такие!) и иным. В самые жестокие моменты освободительной борьбы пролетариата за разрушение мира бездельников, где были они, певцы безделья? Конечно в лагере врагов рабочего класса, и вчерашние бессребренные поэты, поклонники чистого искусства устраивали вместе с монархистами заговоры против рабочей революции.

Плеханов и не думает утверждать, что современные художники „должны“ вдохновляться освободительными стремлениями пролетариата. „Нет, если яблоня должна родить яблоки, а грушевое дерево приносит груши, то художники, стоящие на точке зрения буржуазии, должны восставать против указанных стремлений. Искусство времен упадка „должно“ быть упадочным (декадентским), это неизбежно“.—Совершенно правильно—это неизбежно, и напрасно некоторые наши товарищи пытаются оспаривать этот взгляд, называя его чрезмерно об‘ективистским—в этом об‘ективизме сила этого взгляда. Сегодня, в дни жесточайшего упадка буржуазного искусства, сопровождающаго упадок буржуазных порядков—разве не с очевидностью дня доказывается правильность утверждений Г. В. Плеханова?

Буржуазное искусство времен разрушения капиталистического общества не может быть иным, как упадочным.

Книжку эту прочтут все, кого сколько-нибудь волнуют вопросы искусства, ее прочтут с величайшей пользой и все те, кого интересует вопрос о применении марксистского метода к исследованию общественных явлений—статья Плеханова прекрасный образец.

Однако читатель не будет благодарен издательству.

Такие издания обыкновенно снабжаются предисловиями. И тут имеется

Но вот в чем беда: из этого предисловия читатель ничего не узнает кроме нескольких общих, ничего не говорящих, либо давно известных, либо очевидных „истин", в роде того, что К. Чуковский обругал Плеханова, что у Плеханова можно научиться марксизму и т. д.

Читатель ждет от автора предисловия не „рекомендательного письма"—и без рекомендации М. Мебеля наш российский читатель достаточно хорошо знает Плеханова и ценит его. Читатель ждет, что в этом предисловии будет дан общий очерк взгляда Плеханова на искусство, его прежних работ в этой области, в какой связи находится публикуемая статья к тем, которые были опубликованы к концу 90-ых г.г.; он ждет, что М. Мебель расскажет, какова научная социологическая ценность исследований Плеханова и, наконец, он ждет от М. Мебеля нескольких слов о том, какое влияние оказали исследования Плеханова на социалистическую мысль России и Запада.

Само собой разумеется, это очень трудная задача, и требуется много знаний, труда и времени, чтобы удовлетворительно ответить на все эти вопросы, но ведь из того, что трудно, не следует, что можно и нужно издавать Плеханова с ничего не говорящими предисловиями.

Если бы М. Мебель написал „труд", и Плеханов приложил к ней свое „рекомендательное письмо",—то это имело бы очень большой резон. Но обратное, когда Мебель на трех с лишним страницах развивает „по поводу" и „взгляд и нечто"—неприятно.

Плеханов заслужил более достойного к себе отношения.

В. В.

Энгельс Ф. Забытые письма. Письма Ф. Энгельса к И. Ф. Беккеру. С введением Э. Эйхгорна. Перевод с немецкого с предисловием М. Серебрякова. Петербург. Гос. Издат. 1922 г.

Война не прошла бесследно и для литературных нравов. Плагиат, который прежде стыдливо скрывался или облекался в более приличную форму, теперь практикуется невозбранно. Немецкий „независимец" Эмиль Эйхгорн, бывший редактор „Vorwärts'a", центрального органа социал-демократической партии, а после революции известный полицей-президент Берлина, в 1920 г. опубликовал „Забытые письма" Энгельса к Беккеру.

Слово „забытые" может означать, что письма эти были напечатаны много лет назад в каком-нибудь мало известном журнале, откуда их извлек Эйхгорн. Но именно он не мог не помнить, что письма эти были опубликованы не далее, как в июне—июле 1914 г. и как раз в том органе, редактором которого он состоял.

Письма были найдены мной в бумагах Беккера и были напечатаны с введением и примечаниями. Эйхгорн использовал все это, выпустив только пару заметок, из которых слишком ясно видно было, кто является автором примечаний и издателем писем. Но, в конце-концов, немецкий читатель получал все-таки письма Энгельса, писанные на немецком языке без всяких искажений, письма, представляющие большой интерес для истории немецкой социал-демократии в эпоху закона против социалистов, а также для самого Энгельса и его отношений к Беккеру и Марксу. Можно даже спасибо сказать Эйхгорну, что он извлек их из „Vorwärts'a" на свет божий! В сущности для читателя безразлично, изданы ли письма Эйхгорном или Рязановым и примечания, ведь тоже не станут ни хуже, ни лучше, если они будут подписаны не Рязановым, а Эйхгорном.

Другое дело, когда эти „забытые письма" появляются на русском

—это было бы черезчур много—а некоторого знакомства с предметом, и с его литературой. Имеется ли оно?

Русскому изданию предпослано длинное предисловие, написанное переводчиком М. Серебряковым. Если он когда-нибудь видел большевистский орган „Просвещение", то он мог бы вспомнить, что еще в 1913 г. (июль-август) я напечатал там письмо Энгельса к Беккеру от 15 октября 1884 г., то самое письмо, в котором мы находим самый лестный отзыв Энгельса о Бебеле, как ораторе и политике. Простая справка у меня избавила бы его от некоторых утверждений, высосаннных из пальца. Так, откуда Серебряков знает, что первые письма Энгельса к Беккеру не сохранились? Я могу успокоить его: они существуют и охватывают период от 1872 до 1877 гг. Так как для немецких товарищей представляют интерес только письма от 1877 г., нуждающиеся к тому же в меньшем пояснительном аппарате, то я опубликовал в Vorwärts'е письма за 1877—86 г.г.

Я уже сказал выше, Эйхгорн сделал все-таки хорошее дело,—немецкие рабочие могут познакомиться с письмами Энгельса. К сожалению, этого оправдания нет у Серебрякова. Ему пришлось издать письма Энгельса по-русски. А для этого нужно знать и немецкий и русский. Достаточно сравнить перевод письма Энгельса, напечатанный в „Просвещении" и его новый перевод, чтобы убедиться, что Серебряков не сумел дать просто точного перевода. Во многих местах он совсем не понял текста.

Предисловие составлено по Мерингу, но с той разницей, что там, где историк немецкой социал-демократии находит слова сожаления для злосчастного жестяника Геделя, поплатившегося жизнью за свою глупость, Серебряков пишет в тоне старых „Московских Ведомостей". Для человека, который жалеет, что Энгельс не дожил до славной Октябрьской революции—ему было бы 97 лет!—это непозволительно.

Д. Рязанов.

Проф. Л. С. Берг. Наука, ее содержание, смысл и классификация. Издательство „Время". Петроград. 1922 год. 138 страниц. Цена не обозначена.

Несколько дней назад я встретился с одним уважаемым московским профессором, и он спросил меня:

— А вы видели книжку проф. Берга о науке?

— Видел, но еще не читал, хотя уже давно отложил ее в очередь для чтения.

— Это вот штучка, доложу я вам,—перл, нечего сказать. Прочтите, и сами увидите, куда катятся наши профессора.

Вечером того-же дня я залпом проглотил желтенькую, прекрасно изданную книжку и долго (сознаюсь, совершенно напрасно) изумлялся тому сумбуру, который царит в профессорской голове. Проф. Берг действительно дал „штучку". Хорошо, что он сам не признает абсолютных истин, и это помогает читателю сразу настроиться на критический лад.

Книжка проф. Берга представляет идеалистическую, эклектическую мешанину. Свою „философию" о науке, как и полагается буржуазному ученому, автор подкрепляет массами цитат из различных ученых, начиная с Аристотеля и кончая нашими днями. Но от этого относительные „истины" проф. Берга не становятся убедительными. Сократ, Спиноза, Юм, Бергсон, Мах, Пуанкаре, Гуссерль, Пирсон, Кант, Кассирер, Фейербах, Гете, Сеченов, Вундт, Эпштейн, Лосский, Лапшин, Введенский, Богданов, Плеханов, Ленин и многие, многие другие,—все кружатся и мелькают перед нами, все смешались в одну кучу, как в пушкинских „Бесах". И... ни огня.., ни черной хаты... только бес кружит по сторонам.

интуитивного поэтического творчества проф. Берга. „Творчество поэта, диалектика философа, искусство исследователя,—вот материалы, из которых слагается великий ученый“—говорит автор, цитируя проф. К. А. Тимирязева. Место не позволяет нам показать читателю, как эти качества сочетались у автора, хотя это и заманчиво. Мы остановимся лишь на самых главных положениях книжки.

Приступая к работе, в предисловии, автор заявляет, что „наука внутренне свободна, относится с уважением к чужой свободе и требует такого же отношения к себе“. Так ли уважаемый профессор? Пролетариат уже давно осознал классовую природу наук, особенно общественных. И не только пролетариат, но и даже передовая часть мелкой буржуазии. Но об этом мы не будем говорить. Не поучать же заслуженного профессора азбуке марксизма. Но как самая красивая женщина не может дать более, чем она имеет, так и буржуазный ученый не в силах выскочить из пут буржуазной идеологии.

Интереснее другой момент, когда автор утверждает, что науке нельзя пред'являть практических требований. И он очень недоволен и слегка брюзжит на „Записку петроградского университета о высшей школе“, в которой указывается, что России нужны для практических целей хорошо подготовленные минерологи, геологи, зоологи, ботаники, математики, физики и т. д.

Проф. Берг все пытается кастрировать науку, отняв от нее практические цели и подсовывая на их место этику, эстетику и гимнастику ума. Ученый автор как будто не знает, что наука не только служит практическим целям, но из практических требований жизни она возникла и развивается. Мы не будем ссылаться на ученых марксистов; - при всей „внутренней свободе“ научная мысль проф. Берга, наверное, не относится к ним с уважением. Сошлемся на Э. Пикара. Он профессор Сорбонны, член академии наук. В своих статьях он определенно указывает, что геометрия, напр., возникла из практических потребностей, а вся египетская геометрия представляется историкам этой науки, как совокупность практических правил“.

Проф. Берг идет дальше. Он отрицает как науку, всю математику, а с ней заодно и логику. Они только метод. Цитируя Гильберта, он проповедует, что создается геометрия, „оперирующая исключительно понятиями, геометрия, из которой наглядные представления совершенно устранены. Эта система не нуждается в чертежах и может быть развиваема при помощи одних понятий, без всякого посредства органов чувств“. Опытная наука геометрия превращается в метафизику. Профессору это нравится. Но это ведь исторически неизбежный вкус многих ученых, исторически неизбежная тенденция буржуазной науки при крахе капиталистического общества, несмотря на усиление позиций различных материалистических течений.

Мы живем убеждением, что грядущая пролетарская наука вытравит из всех наук, в том числе и геометрии, имеющиеся там элементы метафизики, и сделает их в высокой степени практическими, что, конечно, не значит узко прикладными, как это понимают сейчас.

Мы помним, что Сади Карно в своей работе о „Двигательной силе огня“ поставил узко-практическую задачу—выяснить заслуги перед человечеством паровой машины, и создал термодинамику, из которой развилась энергетика. Сент-Клер-Девилль, изучая платину, технически положил начало исследованиям о диссоциациях, а из них, как известно, развилась химическая механика.

Всякий прекрасно понимает, что когда Ньютон писал свою книгу о „Математических принципах современной философии“, он не думал о мореплавателях; равно как Ампер и Фарадей, изучая явления индукции, не думали о тех промышленниках, которые применяют в своем производстве мощ-

Как ни пытается проф. Берг доказать „бескорыстный“ характер науки, он все же вынужден, хотя и со схоластическими и метафизическими оговорками, признать ее практическое значение, ее пользу. Тут ему не помогает ни Ренан, ни Пуанкаре, а сам он беспомощно топчется на месте.

Придерживаясь Канта, ученый профессор определяет науку как „систематизированное знание“. Это, конечно, весьма внешнее, поверхностное определение науки, далеко не выясняющее сущности и роли науки. Но и это определение логически не выдержано до конца. В других местах профессор определяет науку, как классификацию. Но ведь одно дело система, другое — классификация. Кантовская метафизика — система, но не классификация, с которой мы встречаемся в ботанике и зоологии. Но предположим, что наука есть классификация; что же она классифицирует? Вещи? Идеи? Никак нет. Вещи познать мы не можем, как уверял Кант и с ним проф. Берг. Наука классифицирует отношения между вещами. Это уже мудрено для материалистического мышления. Как будто бы невозможно классифицировать отношения между вещами, не зная сущности вещей. Кто теперь не знает, что самые принципы классификации меняются в зависимости от познания сущности вещей. Классификация по внешним признакам, часто обманывающая в практической жизни, уступает место классификации по внутренним признакам, классификации более целесообразной, пригодной, а следовательно и более истинной. Сам же проф. Берг признает целесообразное истинным и характерным признаком науки.

Схоластическая чехарда мыслей своих и чужих тянется на протяжении многих страниц, но у нас нет вкуса для анализа этого почтенного занятия.

Определив науку, как классификацию отношений между вещами, проф. Берг поставил вопрос об истинности знания, почему-то опустив вопрос о границах познания. Абсолютного знания нет, есть знание относительное. Был Птоломей—его сменил Коперник. Была механика, но ее подорвал Эйнштейн, если верить автору. Абсолютной истины тоже нет. „Но как в основе изменчивых вещей лежит абсолютная, но не познаваемая субстанция, так в основе изменчивой, преходящей, человеческой истины находится абсолютная, неизменная и вечная, но непознаваемая Истина“. Тут есть зерно верного, но оно в такой метафизической шелухе, что его не скоро выявишь. А дальше проф. Берг вытаскивает кантовскую „вещь в себе“, и пошла великая путаница. Абсолютная истина оказывается „вещью в себе“, она „недостижима и непостижима“, лучше, „она есть идея и, как таковая, сверхвременна“.

Мы считаем не нужным приводить здесь те места из работы Энгельса о Л. Фейербахе, где он решительно опровергает кантовскую неуловимую, непознаваемую вещь в себе. Интересующийся читатель легко найдет их в указанной работе.

Если проф. Берг хотел сказать, что в мире, независимо от нашего сознания, вне нас, существуют вещи, о которых мы не знаем, и, быть может, не успеем узнать во весь период жизни нашей планеты, то надо было сказать это без всякой кантовской шелухи. Но мы уверены, что нашей простой, истинной мысли проф. Берг предпочитает замысловатую кантовскую метафизику.

По проф. Бергу „вещь в себе“ есть абсолютная истина, и она непостижима. Мы отвергаем „вещь в себе“, но не отвергаем абсолютной истины и не считаем ее непостижимой.

В обычной жизни мы часто говорим, что нет абсолютных истин, подчеркивая этим относительность нашего познания, но если ставить вопрос строго философски, то мы должны признать, что все внешнее (Das Aeusserliche) как говорил Гегель, универсум, космос, как любил употреблять Дицген, есть абсолютная истина, которую мы постепенно познаем, идя от наших

употреблять большие слова в отношении простых вещей. Надо рассуждать диалектически, а на это проф. Берг совершенно не способен. Он не способен „вещь в себе" превратить в „вещь для нас" и этим сразу разрешить противоречие между „вещью в себе", абсолютной истиной и относительностью нашего познания.

В главе „Наука и религия" проф. Берг произвольно противопоставляет науку религии и метафизике. Приходится еще раз подчеркнуть, что теперь и буржуазным ученым известно, что религия есть низшая форма познания и принципиально противопоставлять ее науке нельзя. Во-вторых, из суждений автора трудно судить о том, противопоставляет он религию метафизике или отожествляет, а в научном отношении и тут есть интерес, хотя быть может пустяковый.

В главе „Классификация наук" ученый профессор излагая на этот счет взгляды Спенсера, Конта, Вундта, Риккерта, Кроче создает свою классификацию, так же несовершенную, как и все предыдущие классификации.

Он совершенно обошел молчанием по каким причинам и как дифференцировалась наука в буржуазном мире и как она будет интегрироваться в новом социалистическом обществе. Собирание раздробленной и распыленной науки происходит уже теперь, но прежняя ученость не позволяет проф. Бергу замечать этот момент в истории наук. А он мог бы внести существенные изменения в его классификацию наук.

Много вопросов, весьма интересных, как мы указывали, оставлено без всяких замечаний. Но мы уверены, что книжка проф. Берга вызовет не мало рецензий и возражений, и там специалисты по отдельным вопросам сумеют не только защитить математику и логику, как науку, но и вскрыть всю вздорность, всю пустоту и путаницу книжки.

Кто захочет по книжке проф. Берга выяснить вопрос о науке, тот понапрасну потратит время; а доверчивый читатель к тому же запутается, потому что и сам профессор блуждает в трех соснах.

Валерьян Полянский.

С. Вольфсон. Диалектический материализм в творчестве Г. В. Плеханова. Гос. Изд. Белоруссии, Минск 1922, стр. 28.

„Настоящая брошюра,—говорит автор в предисловии, —представляет собою оттиск статьи, помещенной в номере первом „Трудов Белорусского Государственного Университета"—Минск 1922 г. Статья эта является главой из предпринятой работы „Г. В. Плеханов, жизнь и творчество".

Реферируемая брошюра дает конспективное и сжатое изложение, как Г. В. Плеханов в борьбе с врагами и дружественными „критиками" материалистической философии марксизма развивал и углублял, разрабатывал и популяризовал метод и основные проблемы диалектического материализма. В хронологической последовательности автор излагает, как Плеханов еще „с периода народничества" был „заражен" материализмом, как от уничтожающей борьбы с суб'ективной социологической школой перешел к решительной борьбе с бернштейнианством и русскими неокантианцами и как беспощадно отразил все попытки „нового обоснования" марксизма со стороны так. наз. критического реализма, выступавшего под флагом эмпириокритицизма, эмпириомонизма и т. п.

Приходится сожалеть, что автор реферируемой брошюры только вскользь останавливается на эстетических и литературных взглядах Плеханова, не будучи, понятно, в состоянии в конспекте изложить их во всей полноте и широте.

изложением современного материализма можно создать только путем „длинного ряда частных исследований, обрабатывающих соответствующие области науки с помощью Марксова метода“. Плеханов был первым учеником и гениальным последователем Маркса и Энгельса, написавшим такую настоящую и блестящую книгу деалектического материализма.

В небольшой главе автор рассматриваемой брошюры, не смог ни полно изложить содержание, ни тем более дать обстоятельный критический анализ этой большой „книги“ Плеханова о философии марксизма. Вот почему, останавливаясь на одних проблемах несколько подробнее, он на других останавливается вскользь, а мимо третьих проходит, только ограничиваясь одним указанием их. Совершенно не рассмотрены воззрения Плеханова на религию, его анимистическая теория, которая и теперь еще оспаривается даже и в марксистских рядах (в последнее время т. Бухариным). Не использованы почти вовсе философские произведения Плеханова, написанные на немецком и французском языках, а среди них ведь имеется одна из лучших работ его, которая издается теперь на русском языке („Очерки по истории материализма“) и которая дает блестящий анализ французского материализма „в его истинном свете“ и преемственной связи с ним диалектического материализма.

Но даже при использовании только той литературы, которая цитируется в брошюре, можно и должно было дать не сжатый конспект, а гораздо более обстоятельный и полный очерк о Плеханове, как о философе материализма. И предмет и автор этого заслужили, тем более, что это является теперь насущной общественной потребностью.

В пролетарском авангарде наблюдается сейчас массовое стремление к изучению Плеханова. Вот почему, не взирая на указанные недостатки брошюры, можно ее рекомендовать, как хороший конспект и содержательный справочник для лекторов партийных школ и для всякого, знакомого уже с основами новейшей философии и приступающего к изучению философских произведений Плеханова.

А. Ф.

А. П. МОДЕСТОВ „Климентий Аркадьевич Тимирязев“. Изд. Центрана 1922 год.

Краткий биографический очерк жизни К. А. Тимирязева, приуроченый т. Модестовым к годовщине смерти своего учителя, непретендует на всесторонее освещение и оценку деятельности крупного натуралиста и светлого борца-революционера.

Все-таки читатель найдет в нем все главные моменты жизни К. А., жизни столь богатой борьбой с официальной профессурой и представителями и охранителями казенной науки.

Сжатый обзор главных произведений и статей дает представление о круге вопросов, над которыми работал К. А.

Науки вообще,—дарвинизм, агро-химия, физиология растении нашли в нем незаменимого защитника и популяризатора.

Конечно, нельзя ограничиваться этой брошюрой, и мы надеемся, что ученики и последователи Кл. Арк. займутся составлением более обстоятельной биографии своего учителя. Но, пока этой обстоятельной биографии еще нет, брошюра тов. Модестова восполняет ощутимый пробел.

Б. Ш.

Проф. О. Д. Хвольсон „Физика и ее значение для человечества“. Изд-во Гржебина. Стокгольм 1920; стр. 312.

Проф. Хвольсон—видный ученый; его Курс Физики переведен на несколько языков. Тем интереснее отметить отношение Хвольсона к вопросам значения науки и, в частности, физики для человечества,

Большая часть его новой книги посвящена рассмотрению успехов физики, как науки, эта часть изложена систематически; часть же посвященная вопросам общим—значения науки для человечества, ее методов и задач—только вначале изложена более или менее систематически, в общем же, представляет большое количество различных мыслей и замечаний, разбросанных по всей книге и пропитывающих чисто научное содержание книги.

Особенно интересно рассмотрение книги Хвольсона еще потому, что в то время, когда после революции широкие трудовые массы всколыхнулись и жадно ищут научного знания, отказываясь от всего таинственного и иррационального (в том числе в первую очередь от религии), среди ученых чрезвычайно ясно наметилось обратное течение: от науки—ко всему таинственному, к религии, к ограничению значения науки, как метода исследования.

„Каким образом происходит постепенное культурное развитие человечества?“, задается вопросом Хвольсон в начале книги и отвечает: „Культура возникла, ширилась и развивалась благодаря стремлению человека к удобству и к познанию“. Под удобством проф. Хвольсон подразумевает „стремление, если не к богатству, то во всяком случае к выходу из бедности с ее великими неудобствами, в роде тесноты помещения, холодного и сырого, недостатка теплой одежды и неудовлетворительной по качеству и количеству пищи“ и т. д..

Любопытно, что Хвольсон, перечисляя многие неудобств, совершенно не касается во всей книге „неудобств“, проистекающих из таких стремлений к удобствам, как, напр., „стремление к богатству“, поставленному впереди других стремлений.

В каких же взаимоотношениях находятся эти два стремления к удобству и к познанию между собой? Ответ у Хвольсона таков: стремление к удобству есть цель, к которой „стремятся все, без исключения, люди“; к познанию же стремятся „сравнительно немного“.

Второй меньшей половине человечества Хвольсон придает в дальнейшем изложении книги (стр. 76, 225) термин „мыслящее человечество“. Жаль, что для большей ясности он не дает термина и для большей половины двуногого населения земного шара—немыслящего человечества!

Итак большая половина челевечества стремится только к удобству. Ну, а меньшая? А меньшая, видите ли, есть те люди, благодаря работе которых неуклонительно продолжается рост культуры, ширятся старые и возникают новые ее стороны“!

В начале Хвольсон приписал всему человечеству стремление к удобству, но так как меньшая половина экспроприировала самовольно стремление к познанию, то этой последней неудобно стало становиться на одну линию со всем человечеством.

Стремление к удобству, видите ли, нисколько не отражается на стремлении к познанию: „стремление к познанию мы должны поставить рядом со стремлением к удобству“, говорит Хвольсон. Наивный читатель мог бы, пожалуй, заподозреть, что в „мыслящем человечестве“ стремление к удобству оказывает свое влияние и на стремление к познанию. Но на самом деле ничего подобного! Стремление к познанию „совершенно независимо от того, может ли достигнутое познание принести нам какую-либо пользу, т.-е. с какой-либо стороны увеличить наше благосостояние, увеличить степень удобства нашей жизни“?

Продукт „мыслящего человечества“—наука. „Побочный“ продукт науки—культура. „Немыслящему человечеству“ приходится ждать, когда со стола науки „случайно“ для них будут обронены крохи культуры! Вот как говорит

по этому поводу сам Хвольсон: „нет и быть не может людей, специальная задача которых была бы - увеличивать эту культуру; но есть люди (!), благодаря работе которых неукоснительно продолжается рост культуры"... Эти люди, мы уже знаем,—ученые. „Ясно, что неуклонное поднятие культурного уровня человечества является как бы случайным, пожалуй, неожиданным „побочным" продуктом деятельности людей, в которой и следует отыскать те черты или стороны, благодаря которым получается столь драгоценный „побочный" продукт, прикладывается кирпич к кирпичу и строится величественное здание культуры человечества"!

Нарисовав столь величественную картину, Хвольсон окончательно не выдерживает и впадает прямо в божественный тон: „богиня - наука подняла человечество и одарила его всеми теми культурными благами, без которых мы не можем себе представить нормального течения жизни"!

Эти „все культурные блага"—в том числе и техника—результат науки. Говоря о значении добытых физикой результатов для удовлетворения „стремления к удобству", Хвольсон утверждает, что эти „удобства были достигнуты исключительно только благодаря работе ученых, посвятивших свою жизнь физике, с единственною, однако, бескорыстною целью добыть познания, и вовсе не справляясь о той пользе, которую могут принести их открытия... Эта польза, это применение новых открытий для увеличения удобств жизни, этот рост цивилизации явились как-то сами собой (поди-ж ты как просто! А. М.); как зрелый плод, он преподносится человечеству в виде бесчисленных изобретений, которые только и могли появиться на почве новых открытий, послуживших для них необходимым фундаментом".

Итак, великолепнейший научный результат: меньшинство—„мыслящее человечество"—случайно, облагодетельствовало большинство немыслящее!

Большинству остается лишь распростереться ниц от благодарности! Но и об этом не забыл Хвольсон! „Благодарное человечество (очевидно „немыслящее" большинство его,—А. М.) никогда не забудет имен бескорыстных ученых, этих жрецов во храме богини—науки, которые неустанным трудом расширяли и углубляли наши познания, ища истину и постепенно к ней приближаясь. Им сохранится, действительно, вечная память и им будут стараться подражать будущие поколения ученых, которых не перестанет привлекать ярко горящий светоч науки, манящий к себе и освещающий долгий и тернистый путь, который ведет туда, где скрыта истина и где находится источник познания".

Другой группой общих вопросов, которых касается Хвольсон, являются вопросы методологии физики, теории научного творчества и теории познания вообще. К решению этих вопросов Хвольсон также легко подходит, как и к решению группы вопросов, разобранных выше.

В начале разбираемой группы вопросов Хвольсон задается вопросом: что является задачей физики? и отвечает: „изучение свойств мертвой материи и тех явлений, которые в ней происходят". „Выполнение этой задачи распадается на три части: физика должна эти явления открыть, изучить, об'яснить".

Самым интересным в этом ответе является то, что Хвольсон противопоставляет мертвую материю—живой.

На стр. 19 он говорит: „остается незатронутым физикой самое важное, а именно: все то, что неразрывно связано с самой жизнью, как с таинственым источником процессов, составляющих предмет изучения наук биологических". Хорошо еще, что тут Хвольсон „таинственый источник" отдает под рассмотрение биологии, а не богословии! Но по другому сходному вопросу, Хвольсон близок и к этому!

Разбирая во второй половине книги второй принцип термодинамики, Хвольсон усматривает в нем доказательство „эволюции" мира. Если с такой формулировкой, взятой из биологии, и можно согласиться, то нельзя согласить-

ся с ни откуда не вытекающим заключением Хвольсона: „наш мир есть организм“. Сделав этот прыжок, Хвольсон договаривается и до отказа науки от некоторых вопросов волнующих Хвольсона! „Если происходит эволюция, то где ее начало и где ее конец?“,—задается он вопросом. И тотчас заявляет: „во всем страшном (курсив мой—А. М.) величии встает перед нами вопрос о судьбе мира и мы увидим, в какой тесной связи находится этот вопрос с другими вековечными вопросами, решение которых, вероятно, навсегда останется за пределами того, что доступно человеку“.

Страшное величие, вековечные вопросы, существование которых пугает Хвольсона и которые он неоднократно подчеркивает в книге, и которые, вероятно, останутся неразрешимыми для человека—открывают таки путь для божественного откровения.

В другом месте Хвольсон еще более решительно выражается по этому вопросу: „вселенная ни в коем случае не должна быть предметом естественно-исторических (а каких же?—А. М.) исследований и прилагать к ней законы физики нельзя“.

Ограничив поле деятельности физики и науки вообще, Хвольсон таким же образом подходит и к решению вопроса о методе физики при исследовании явлений и свойств материи.

Одним из орудий при открытии, изучении и об'яснении явлений является гипотеза. „Гипотезой, в обширном смысле слова, называется всякое допущение или предположение, правильность которого мы в данный момент не имеем возможности проверить“,—говорит Хвольсон. Но в то же время гипотеза строится таким образом, что она должна об'яснить все имеющиеся на лицо факты из той или другой области. Гипотеза всегда является одним из вероятных и возможных об'яснений явлений и строится на основании современного знания наукой процессов природы и строения материй. Этому положению так много подтверждений в книге Хвольсона, что можно было ожидать, что он подробнее его исследует и укажет путь, которым образуется гипотеза, зачастую вырабатываемая трудом многих ученых. Тем более было бы интересным разобрать этот вопрос (или не разбирать совсем), что, как Хвольсон отмечает, гипотеза после некоторого времени существования отбрасывается и заменяется другой, но из первой гипотезы „те познания, которые она нам подарила, почти всегда целиком или, по крайней мере, в их существеннейших чертах, уже не подвергаются изменениям; они более или менее целиком переходят в новую теорию“. В другом месте Хвольсон отмечает: „Чем больше число разнообразных явлений, об'ясняемых одной гипотезой, тем лучше“; „предположение новой гипотезы можно сравнить с попыткой построить модель того что находится за пределами наших наблюдений“.

Однако после приведенных совершенно правильных замечаний, Хвольсон, как бы испугавшись, что он открывает механизм научного творчества, сразу делает прыжок и отказывается от понимания того, „каким путем можно дойти до постановки гипотезы, которая привела бы к прогрессу науки“, и отвечает словами Кеплера: „мой добрый гений подсказал мне эту мысль“.

И все эти уклоны в сторону таинственного, страшного и непонятного, в сторону отказа от научного понимания таких вопросов, делаются Хвольсоном при чисто материлистических выводах по научным вопросам, где Хвольсон начинает говорить как ученый, где он разбирает специальные вопросы.

Так, разбирая в главе о „лучистой энергии“ отношение наших органов чувств к различным проявлениям ее, он говорит: „мы имеем здесь перед собой один из тех случаев, когда следует отмечать явление суб'ективно воспринимаемое от явления об'ективно существующего или, иначе говоря, явление физиологическое, находящееся в полнейшей зависимости от специального устройства наших органов чувств, и явление физическое,

реально существующее вне нас и, конечно, независимо от того, воспринимается ли оно кем либо или нет".

В том же духе подходит Хвольсон к разрешению и других вопросов, затрагиваемых им в книге: чем общее вопрос, тем более в сторону идеализма ударяется он и приходит к отказу от науки, чем специальнее вопрос, тем тверже становится он на почву материализма. тем научнее подходит он к нему.

Выводы из всего предыдущего напрашиваются сами собой и мы, не производя дальнейшего разбора, лишь приведем основные соображения об отрицательных, а под конец и положительных, сторонах книги Хвольсона.

Хвольсон, как буржуазный ученый, будучи материалистом в чисто научных вопросах, в вопросах общих, касающихся вопросов мировоззрения, неизбежно скатывается под сень своей классовой идеологии. Классовое положение Хвольсона заставляет его, вольно или невольно, что для нас безразлично, скрывать истинные корни науки.

Хвальсон непоследователен: он мечется между идеализмом и материализмом и не может окончательно встать ни на сторону одного ни на сторону другого. На сторону идеализма он не может встать как ф и з и к, на сторону материализма целиком встать ему мешает—его классовое положение.

Большая часть разобранной книги посвящена изложению главнейших успехов физики; изложение ясное, но пересыпано приведенными выше попытками решать общие вопросы. Если бы их не было, то книга Хвольсона была бы замечательной. Но и в таком виде, в каком она есть, она полезна: 1,-при изучении в марксистских кружках вопроса о классовой подоплеке буржуазной философии и науки; 2—при ознакомлении с успехами физики.

Лучшего примера для первой цели искать незачем, если к разобранной книге добавить другие сочинения Хвольсона по общим вопросам.

А. А. Максимов.

Собрание сочинений Г. В. Плеханова. Под редакцией Д. Рязанова.

Мы уже сообщили в 3 номере нашего журнала о том, что Социалистическая Академия подготовляет собрание сочинений Г. Ц. Плеханова к изданию под редакцией Д. В. Рязанова. Тогда редакция еще только работала над составлением плана издания и подготовляла первые тома. Теперь план уже совершенно готов и утвержден Гос. Издательством. Первые четыре тома набраны и вероятно в очень скором времени поступят в продажу. Сдан в набор том двенадцатый. Редакция сейчас подготовляет к изданию томы 7, 11, 14, 17 и др. Читателю не трудно судить по приведенному ниже подробному проспекту, что собрание сочинений очень недалеко от п о л н о г о. В него включены в с е его статьи: как философские, литературные, социологические,—так и публицистические и политические. Несомненно остались остались ряд статей, неразысканных и неизвестных редакции. К числу их принадлежат ряд статей в иностранных (немецких, французских, итальянских и др.) периодических изданиях. Само сабой разумеется до окончания издания многие из них будут разысканы, как вероятно многие друзья и товарищи Г. В. к этому времени опубликуют его письма. Этот добавочный материал редакция решила выпустить добавочным томом.

Ниже мы приводим подробный проспект издания.

Том 1.

(Статьи до 1883 г. Период народнический).

1. Предисловие редактора.
2. Предисловие Г. В. Плеханова к 1-му тому с. с. изд. 1905 г.
3. Корреспонденции:
    а) Каменская станица—письмо I—II.
    б) С Бумаго-прядильн. ф-ки Кенига.
    в) С Новой Бумагопрядильни.
    г) Волнения в среде фабричн. населения.
4. Закон экономического развития общества и задачи социализма в России—ст. I и II.
5. Поземельная община и ее вероятное будущее.
6. От редакции „Черного Передела."
7. Передовая статья из „Черного Передела." № 1.
8. Передовая статья из „Черн. Перед." № 2.
9. Об издании русской соц.-рев. библ.
10. Предисл. к русск. изд. „Манифеста Коммунист. Партии".
21. Воспоминание об А. Д. Михайлове.
12. Новое направление в политической экономии.
13. Экономическ. теория Родбертуса.

Том 2.

(Статьи 1883—1888. От Группы Освобождения Труда до организации Союза русских С.-Д).

1. А. П. Щапов.
2. Об издании библ. современ. социализма.
3. Социализм и политическая борьба.
4. Наши разногласия.
5. Программа „Группы Освобождения Труда" 1884 г.
6. Современные задачи русских рабочих.
7. Предисловие к русскому переводу брошюры Дикштейна.
8. Примечание к русскому переводу брошюры Дикштейна.
9. Предисловие к русскому переводу бр. Маркса „Речь о свободе торговли".
10. Предисловие к русскому переводу „Чего хотят социал-демократы".
11. Об одной стачке. (У Морозова).
12. Проект программы Группы Освобождения Труда 1888 г.
13. Политические задачи русских социалистов.

Том 3.

(1888—1892— статьи из „С—Д"—На русские темы).

1. От редакции (сборника „Социал-демократ").
2. Как добиваться конституции?
3. Неизбежный поворот.
4. По поводу брошюры Л. Тихомирова.
5. Горе г. Тихомирова.
6. Предисловие к речи Алексеева.
7. Русский рабочий в революционном движении.
8. Предисловие к брошюре „1-е мая 1891 г."
9. Внутреннее обозрение (из „С—Д" № 1,2 и 3).
10. Всероссийское разорение.

Том 4.

(*1888—1892. На международные темы*).

1. Ф. Лассаль.
2. Речь на Парижском Международном Конгрессе 1889 г.
3. Столетие Великой Революции.
4. Иностранное обозрение.
5. 1-е мая 1890 г.
6. Рабочее движение 1891 г.
7. Ежегодный праздник рабочих и 8-ми часовой рабочий день.
8. Шпионские забавы
9. Французское правосудие и русское шпионство.
10. Рецензии и критические заметки (1888 г. и 1892 г.)

Том 5.

1. Н. Г. Чернышевский.

Том 6.

1. Н. Г. Чернышевский.

Том 7.

(*Обоснование и защита диалектического материализма,—ч. I.*)

1. К 60-ти летию смерти Гегеля.
2. Примечание и предисловие к 1-му русскому изданию „Л. Феербаха".
3. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю.
4. Несколько слов нашим противникам.
5. Анархизм и социализм.
6. Сила и насилие.

Том 8.

(*Тоже,—ч. II*).

1. Очерки по истории материализма.
2. О. Тьерри о материалистическом понимании истории.
3. Несколько слов в защиту экономического материализма.
4. Нечто об истории.
5. О материалистическом понимании истории.
6. О роли личности в истории.

Том 9.

(*Против народничества.*)

1. О социальной демократии в России.
2. Предисловие к брошюре Энгельса „Ответ Ткачеву".
3. Россия перед сменой режима.
4. От издателей („Работник" № 1—2).
5. Доклад Лондонскому Международному Конгрессу.
6. Обоснование народничества в трудах г. В. В.
7. Новый поход против социал-демократии.

Том 10.

(*Литературные статьи 1888—1897*).

1. Н. А. Некрасов.
2. Наши народники беллетристы Г. Успенский, Коронин, Наумов.
3. 14-е декабря 1825 г.

5. Белинский.
6. Судьбы русской критики, ст. I, 2 и 3.
7. История новейшей русской литературы.

Том II.

(Критика критиков 1898—1902.)

1. Бернштейн и материализм.
2. К. Шмидт против Маркса и Энгельса.
3. За что мы ему должны быть признательны.
4. Материализм и кантианизм.
5. Еще раз материализм.
6. Предисловие к брошюре Энгельса „Развитие научного социализма".
7. Критика наших критиков.
8. Cant против Канта.
9. Предисловие к коммунистическому манифесту.
10. Рецензии и критические заметки 1899—1902 гг.

Том 12.

(*Борьба с экономизмом.* Статьи из „Искры" и „Зари"—1900—1903 г).

1. Vademecum.
2. Речи на Парижском Конгрессе 1900 г.
3. Извещение об издании общедоступного приложения к „Заре".
4. На пороге XX века.
5. Еще раз социализм и политическая борьба.
6. Несколько слов о последнем Парижском Конгрессе.
7. Предисловие к брошюре Каутского и Бертрана о кооперации.
8. Новое вино в старых мехах.
9. О тактике вообще, о тактике николаевского генерала в частности.
10. Что же дальше.
11. О демонстрациях.
12. О конференции международного социалистического бюро.
13. Смерть Сипягина и наши агитационные задачи.
14. Проект программы Р.С.Д.Р.П.
15. Русский рабочий класс и полицейские розги.
16. Вынужденная полемика.
17. Комментарии к проекту программы.
18. Беседа с другом читателем.
19. Логика русского терроризма.
20. История повторяется.
21. Значение Ростовской стачки.
22. Пролетариат и крестьянство.
23. Еще раз о Ростовской стачке.
24. К. Маркс.
25. Мартовские иды.
26. Предисловие к книге Туна.
27. Отмена круговой поруки.
28. Г. Брешковская и Чигиринское дело.
29. Последняя карта царизма.
30. Ортодоксальное буквоедство.
31. Времена меняются.
32. Речи на втором с'езде Р.С.Д.Р.П.
33. Всеобщая стачка на юге.

35. Белый террор.
36. Красный с'езд в красной стране.
37. Полицейский антисемитизм.
38. С'езд Лиги революционной соц.-демократии.
39. О книге „Россия накануне XX столетия".
40. О книге Чичерина „Польский и еврейский вопросы".

Том 13.

(*От II с'езда РСДРП. Политические статьи 1903—1905 г.*).

1. Чего не делать?
2. Нечто об экономистах.
3. От редакции—ответ на письмо II. Ленина.
4. Почему и как мы разошлись с ред. „Вест. Нар. Воли".
5. Забавное недоразумение.
6. Грустное недоразумение.
7. Письмо об обстоятельствах выхода Ленина из редакции „Искра".
8. Предисловие к „Крестьянскому вопросу" Энгельса.
9. А все-таки движется.
10. От редакции.
11. Болоньский с'езд итальянских социалистов.
12. Замечание к письму Уфимцева.
13. Строгость необходима.
14. Централизм или бонапартизм.
15. Ответ на анкету о всеобщей стачке.
16. Галлабрун и Ка-Льн-Тзи.
17. Теперь молчание невозможно.
18. Ответ Лядову.
19. Речи на Амстердамском Конгрессе.
20. Рабочий класс и с.-д. интеллигенция.
21. Соц.-дем. и терроризм.
22. В Амстердаме.
23. Международное товарищество рабочих.
24. Речь на собрании членов Р.С.Д.Р.П 2/IX. 904 г.
25. Пора об'ясниться.
26. Ответ нашим непоследовательным сионистам.
27. О нашей тактике по отношению к русской буржуазии и др.
28. Врозь идти—вместе бить.
29. Священник Гапон.
30. Дневник соц.-дем., № 1.
31. К вопросу о захвате власти.
32. Открытое письмо всем членам партии.
33. В ожидании 1 мая.
34. Об'единение французских социалистов.
35. От автора к сб. „На два фронта".
36. Дневник № 2.
37. Дневник № 3.

Том 14.

(*Статьи по литературе и искусству*).

1. Об искусстве.
2. Письма без адреса (письмо 1, 2 и 3).
3. Пролетарское движение и буржуазное искусство.
4. Французская драматическая литература и французская живопись
5. Искусство и общественная жизнь.

7. Предисловие к 3-му изд. сб. „За 20 лет.“.
8. Г Ибсен.

Том 15.

(*Эпоха первой революции 1905—1907 г.*)

1. Дневник № 4.
2. Дневник № 5.
3. Речи на Об'единительном с'езде.
4. Письмо к рабочим.
5. Письма о тактике и бестактности 1—5.
6. Где же правая сторона и где ортодоксия.
7. Дневник № 6.
8. Дневник № 7.
9. Заметки публициста I—VII.
10. Дневник № 8.
11. Речи на Межд. Соц. Бюро 10/XI. 906.
12. Открытое письмо к сознательным рабочим.
13. К вопросу об избирательных соглашениях.
14. Заседание Межд. Бюро в Брюсселе.
15. Пора об'ясниться.
16. Речи на Лондонском с'езде Р.С.Д.Р.П.
17. Новая погудка на старый лад.
18. Беспорядочное отступление.
19. Речи на Штутгардском Конгрессе.
20. Предисловие к „Мы и они“.
21. Неосновательные опасения.
22. Симптоматическая ошибка.
23. Возможно ли это?
24. Что хорошо—то хорошо!
25. Слово принадлежит меньшевикам.
26. А все-таки оно движется!
27. Девочка Малаша.
28. Заметки публициста.
29. Уроки прошлого.
30. Предисловие к бр. Голубя.

Том 16.

(*Против синдикализма и анархизма*).

1. Мангейм.
2. Э. Реклю, как теоретик анархизма.
3. Почему нет социализма в Соединенных Штатах.
4. Зомбарт „Пролетариат“.
5. Борьба рабочих за политическую свободу в Англии.
6. Артуро Лабриола.
7. Энрико Леоне и Иваное Бономи.
8. Г. Виктор Чернов и П. Луи.
9. О книге А. Оливетти.
10. Анархист-индивидуалист.
11. О книге Критской и Лебедева.
12. Предисловие ко 2-му и 3-му изд. „Анархизм и Социализм“.
13. Предисловие к брошюре „Сила и насилие“.
14. 25-тилетие смерти Маркса.
15. Предисловие к письму Маркса к Швейцеру.
16. Неудачная история партии „Народная Воля“.
17. Из переписки 70-х годов.

18. А. Бебель.
19. Речь на могиле Бебеля.
20. Предисловие к брошюре О. Лонге.
21. Предисловие к запискам доктора Васильева.
22. Письмо в редакцию „Гол. Мин.“.
23. Речи на Копенгагенском Конгрессе.
24. Во второй комиссии Копенгагенского Конгресса.
25. Предисловие к сбор. „Критика наших критиков“.
26. Предисловие ко 2-му изд. сборн. за 20 лет.
27. Предисловие к „Теории прибавочной стоимости“, К. Маркса.

Том 17.

(*Философия и религия*: *Против эмпириомонизма и богоискательства*).

1. Ответ г. А. Богданову, письмо 1, 2 и 3.
2. Трусливый идеализм.
3. Анри Бергсон.
4. О книге г. Шулятикова.
5. О книге Л. Робинсона.
6. И. Дицген.
7. О книге Гольцапфеля.
8. Основные вопросы марксизма.
9. О книге Виндельбанда „Философия в немецкой духовной жизни“.
10. Скептицизм в философии.
11. Французский утопический социализм.
12. Руссо и его ученики о происхождении неравенства.
13. О книге Бурдо „Вопрос о смерти...“.
14. О книге Риккерта „Наука о природе...“.
15. О книге Бутру „Наука и религия“ и т. д.
16. О так называемых религиозных исканиях в России, ст. 1, 2 и 3.
17. О книге Пфлейдерера „О религии и религиях“.
18. О книге Лютгенау.
19. О книге Паннекука.
20. О книге М. Гюйо.
21. Западные утописты.
22. Предисловие к 4-му изд. брошюры Энгельса „Научный социал.“.
23. Примечание и предисловие к „Л. Фейербаху“.

Том 18.

(*Борьба с ликвидаторством 1909—1914 г.*)

1. Дневник с.-д. № 9.
2. Дневник с.-д. № 10.
3. О моем секрете,—брош.
4. Дневник № 11.
5. В защиту „подполья“.
6. Новое письмо к т. Мартынову.
7. О пустяках и особенно о г. Потресове.
8. Дневник № 12.
9. Дневник № 13.
10. Дневник № 14.
11. Дневник № 15.
12. Приложение 1 к № 15 Дневника.
13. Приложение 2 к № 15 Дневника.
14. О том, что полезно уметь связывать свои мысли.
15. Международный социалистический с'езд в Копенгагене.

16. Предисловие к брошюре Аркомеда.
17. Несколько слов в ответ т. Лидову.
18. Наше положение.
19. Кое-что об Италии.
20. Случай Биссоляти.
21. Предисловие к отчету „е—ского“ делегата на конференции.
22. Письмо т. Гюисмансу.
23. Письмо в ред. газ. „Невская Звезда“.
24. Письмо в ред. L'Humanite.
25. К вопросу о расколе с.-д. фракции IV Думы.
26. Под градом пуль, ст. I—V.
27. Интервью с сотрудником газ. „Юг“.
28. К 15-летию нашей партии.
29. Речь на могиле Бебеля.
30. А. Бебель.
31. Письмо в Меж. Соц. Бюро.
32. Письмо Нью-Иоркской организации.
33. Кто же собственно равнодушен.
34. Что нужно для того, чтобы стало возможным единство?
35. „Открытое письмо“ и „Гласный ответ“.
36. Снявши голову по волосам не плачут.
37. От национализма к оппортюнизму.
38. Письмо к сознательным рабочим.

Том 19.

(*Литературные статьи*).

1. Идеология мещанина нашего времени.
2. О книге Иванова-Разумника „О смысле жизни“.
3. О том, что есть в романе „То чего не было“.
4. К психологии рабочего движения.
5. Сын доктора Стокмана.
6. О книге Философова.
7. О Толстом:
   а) Смешение представлений,
   б) Отсюда и досюда,
   в) Маркс и Толстой,
   г) Еще о Толстом.

Том 20.

История русской общественной мысли, т. I.

Том 21.

История русской общественной мысли, т. II.

Том 22.

История русской общественной мысли, т. III.

Том 23.

(40 и 60 годы).

1. П. А. Чаадаев.
2. История молодой России.
3. О книге Гершензона „Печорин“.
4. М. Погодин и борьба классов.

5. О с. с. Киреевского, тт. 1 и 2.
6. О книге Н. Бердяева „Хомяков".
7. В. Г. Белинский.
8. О Белинском.
9. В. Белинский и В. Майков.
10. О книге Ашевского (Белинский и его современники).
11. Н. Г. Чернышевский.
12. Н. Г. Чернышевский (С. М. Ноябрь, 1909 г.).
13. Еще о Чернышевском.
14. Чернышевский в Сибири.
15. Добролюбов и Островский.
16. „Освобождение крестьян".
17. Герцен и крепостное право.
18. Философские взгляды Герцена.
19. Герцен эмигрант.
20. Богучарский о Герцене.
21. О книге „Стасюлевич и его современники", тт. 1, 2, 3 и 4.

Том 24 и том 25.

Статьи 1914—18 г.

Том 26.

Именной и предметный указатели. Био-библиографические материалы.

Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Собрание сочинений. (Сочинения и переписка) под редакцией Д. Рязанова и И. Степанова.

Институт К. Маркса и Ф. Энгельса приступил к работам по подготовке к изданию собрания сочинений Маркса и Энгельса. Это капитальное издание рассчитано на 32 тома. В настоящем номере мы ограничимся лишь приведением подробного плана, выработанного редакцией и утвержденного Госиздатом.

ТОМ ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ. **Энгельс до 1845 г.**

ТОМ ПЕРВЫЙ *Литературные и философские статьи.*

Письма из Вупперталя.
Карл Бек.
Ретроградные признаки времени.
Платен.
Э. М. Арндт.
Статьи из Рейнской газеты 1842 г.
а) Северо и южно германский либерализм.
б) Рейнские праздники.
в) Дневник вольнослушателя.
г) Статья о Валесроде
Александр Юнг и молодая Германия.
Фридрих Вильгельм I.
Шеллинг о Гегеле.
Шеллинг и откровение.
Шеллинг-философ во Христе.
Статьи из New Moral World.

ТОМ ВТОРОЙ. *Экономические статьи. Работы об Англии.*

Корреспонденции из Лондона в Рейнскую Газету и „Швейцарский республиканец".

Положение Англии в 18 столетии.
Положение Англии (о Карлейле).
Очерки критики политической экономии.
Положение рабочего класса в Англии.
Стачка английских плотников.

ТОМ ТРЕТИЙ. **Маркс до 1845 г.**
Письмо к отцу.
Различие между натурфилософией Демокрита и Эпикура.
Заметки о новейшей прусской цензурной инструкции.
Протоколы шестого Рейнского ландтага.
Передовая статья в № 179 Кельнской Газеты.
Философский манифест исторической школы права.
О свободе печати.
Переписка в 1843 г.
Критика философии права Гегеля.
К еврейскому вопросу.
Критические примечания к статье „Король Прусский“.

ТОМА ЧЕТВЕРТЫЙ И ПЯТЫЙ. 1845—1847. **Начало общей работы Маркса и Энгельса: борьба с истинным социализмом. Организация Союза Коммунистов.**

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ. Маркс и Энгельс. Святое семейство.
Святой Макс.
Энгельс. Две речи в Эльберфельде.
Маркс о самоубийстве.

ТОМ ПЯТЫЙ Энгельс. Отрывок из Фурье.
Маркс. Против Грюна.
Против Криге.
Коммунизм Рейнского обывателя.
Немецкий социализм в прозе и стихах.
Энгельс. Коммунизм Гейнцена.
Маркс. Морализирующая критика и критическая мораль.
Энгельс. Гражданская война и Швейцарии.
Конец Австрии.
Революционные движения в 1847 г.
Статьи из Northern Star.
Статьи из Reforme.
Маркс и Энгельс. Речи о польском вопросе.
Коммунистический манифест.

ТОМ ШЕСТОЙ. **Революция 1848—1849 г. г.**
Маркс и Энгельс. Революция и контр-революция в Германи.
Статьи из Новой Рейнской Газеты.
Речи Маркса пред судом присяжных.

ТОМ СЕДЬМОЙ 1850—1853. **Против буржуазной демократии. Ликвидация союза коммунистов.**
Статьи из Обозрения Новой Рейнской Газеты.
18 Брюмера.
Кельнский процесс коммунистов.
Рыцарь благородного сознания.

ТОМА 8—12 1842—1862 **Годы реакции.**
Статьи из Нью Иоркской Трибуны, Народной Газеты, Новой Одерской газеты, Американской Энциклопедии, Народа.
Памфлеты.

ТОМ ВОСЬМОЙ. Письма об Англии.
Восточный вопрос.
Пальмерстон.
Русско-Турецкая война.

ТОМ ДЕВЯТЫЙ. Осада Севастополя.
Панславизм.
Лорд Россель.
Падение Карса.
Испанские революции.

ТОМ ДЕСЯТЫЙ. Статьи об Англии, Франции, Пруссии, Credit Mobilier.
История англорусского союза. Английское господство в Ост-Индии.
Восстание в Ост-Индии.
Промышленный кризис 1857.

ТОМ ОДИННАДЦАТЫЙ. Статьи об европейском кризисе 1859 г.
Итальянская война.
По и Рейн. Савойя, Ницца и Рейн.

ТОМ ДВЕНАДЦАТЫЙ. Господин Фогт.
Статьи об Англии и Пруссии (1861—62).
Северо-американская гражданская война.

ТОМ ТРИНАДЦАТЫЙ. Энгельс. Военные статьи. Прусский военный вопрос и немецкая рабочая партия.

ТОМ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ. 1864—1873. Маркс и Энгельс. **Первый Интернационал.**
Статьи, манифесты и резолюции Первого Интерна ционала.

ТОМА 15—22. **Экономические работы Маркса.**
Нищета философии.
Речь о свободе торговли.
Наемный труд и капитал.
К критике политической экономии.
Цена, прибыль и заработная плата.
Капитал I—IV т.

ТОМ ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ. **Энгельс 1873—1883.**
Статьи из Volkstaat.
Жилищный вопрос.
Эмигрантская литература.
Прусский шнапс в немецком рейхстаге и др.
Анти Дюринг.

ТОМ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. **Энгельс 1884—1885.**
Происхождение семьи, частной собственности и государства.
Статьи из Социал-демократа. Фейербах и конец немецкой классической философии.
Памфлеты.

ТОМЫ 25—30.
Переписка Энгельса и Маркса 4 тома.
Письма Маркса и Энгельса к Лассалю.
" " " " Вейдемейеру.
" " " " Кугельману.
" " " " Фрейлиграту.
" " " " Зорге.
" " " " Беккеру.
И т. д. и т. д.

ТОМЫ 31—32. Именной и предметный указатели.
Био-библиографические материалы.

Письма в редакцию.

Г. В. Плеханов не переставал быть марксистом.

(Письмо в ред. „Под знам. маркс.)“.

В № 110 (1519) „Изв. Всер. Ц. И. К. Сов.“, а также и в других органах печати помещено обращение Исполкома Коминтерна „к рабочим всех стран“, в которой, между прочим, в первом абзаце, напечатано:

„Еще покойный Плеханов, когда он был марксистом“ и т. д.

Подчеркнутые нами слова мы считаем неверными и оскорбительными, как для памяти основоположника марксистского течения в России, так и лично для нас, его друзей и единомышленников.

Мы тем более находим необходимым энергично протестовать против этой инсинуации, что она брошена целым учреждением, к тому же в обращении его „к рабочим всех стран“.

Последние, не зная в точности взглядов покойного Плеханова и полагаясь на заявление столь авторитетного органа, каким является Исполком Коминт., несомненно поверят, что основоположник марксизма в России потом изменил ему, что конечно, абсолютно не верно.

Мы, близкие Плеханову лица, зная, каковы были его воззрения вплоть до его смерти, утверждаем, что до гробовой доски он остался верен взглядам основателей научного социализма, усвоенным им в юности и неизменно проповедуемым втечение почти сорока лет.

За „Комитет по увековечению памяти Г. В. Плеханова“

Любовь Аксельрод-Ортодокс.
Лев Дейч.

20—V—22 г.
Москва.

P. S. Просим все органы, напечатавшие обращение Исполкома Коминтерна, перепечатать настоящее наше письмо.

Л. А. и Л. Д.

В редакцию „Под Знаменем Марксизма“.

Дорогие товарищи!

Огромный интерес к общественным наукам заставляет молодежь взяться за книги. Между тем ни в одной отрасли наук нет столько новых понятий, как в общественных,—это конечно затрудняет их изучение. В настоящее время издается массса книг, но еще нигде не додумались издать хороший Словарь, который помог бы начинающим изучать общественные науки. Пишем об этом в редакцию „Под Знаменем Марксизма“, в надежде, что кое-что будет предпринято в этом отношении.

Группа Свердловцев.

21 мая 1922 г.

По имеющимся у нас сведениям, Главполитпросвет в очень непродолжительном времени выпускает такой словарь. **Ред.**

* * * * * *

Изд. К-во „Материалист“. Отв. редактор В. Тер.